

46598

35

АКАДЕМИЯ НАУК СОЮЗА ССР

И. Ю. Крачковский

Над арабскими  
рукописями



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
АКАДЕМИИ НАУК СССР

1945

002  
К-78

АКАДЕМИЯ НАУК СОЮЗА ССР

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ

Академик  
И. Ю. КРАЧКОВСКИЙ

Над арабскими  
рукописями



10055

~~БИБЛИОТЕКА~~  
~~ИЗДАТЕЛЬСТВО~~  
46598  
СО АН СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
АКАДЕМИИ НАУК СССР  
МОСКВА-ЛЕНИНГРАД  
1945

ЦИТРИУЛЬ  
БИБЛИОТЕКА  
СО АН СССР



Под общей редакцией Комиссии АН СССР по изданию  
научно-популярной литературы  
Председатель Комиссии академик *В. Л. КОМАРОВ*  
Зам. председателя академик *С. И. ВАВИЛОВ*  
Зам. председателя чл.-корр. АН СССР *П. Ф. ЮДИН*



## ПРЕЛЮДИЯ

Я прошу не смотреть на эту книжку как на личные мемуары автора. Я писал воспоминания не о самом себе, а об арабских рукописях, которые сыграли большую роль в моей жизни, которые мне посчастливилось найти или которые через мои руки вошли в научный мир.

Рукописи часто влекли воспоминания о разных библиотеках, где они хранились, о людях, которые были с ними связаны, и, конечно, о самом себе. Но не это все было основным. Мне прежде всего хотелось показать, что переживает ученый в своей работе над рукописями, немного приоткрыть те чувства, которые его волнуют и о которых он никогда не говорит в своих специальных трудах, излагая добытые научные выводы. Мне хотелось рассказать о радостях и огорчениях кабинетной работы, про которые многие и не подозревают, считая ее скучной, сухой, оторванной от жизни.

Может быть, в моем рассказе увидят слишком много сентиментальности и романтизма, но я не боюсь этого упрека: так я переживал свою работу и так о ней вспоминаю.

В этой книжке я не стремился сознательно к популяризации науки; для меня не важно, если читатель не запомнит отдельные факты или имена, которые в ней названы. Но я ограничивался материалом только из близкой мне сферы, о многом я писал теперь впервые, о многом иначе, чем раньше; может быть поэтому в книжке встретится изредка что-нибудь новое и полезное для науки. Однако дело не в этом. Для меня важно другое. Я не скрываю, что хотел немного пропагандировать свою область, полным голосом заговорить про восточную филологию. По мере сил я старался показать, что в ней работают люди не только потому, что к этому влечет их субъективный, как думают некоторые, странный вкус, что к ней стремятся не только любители экзотики

Все располагало здесь к работе и как-то сразу окутывало ее атмосферой. По временам даже трудно было поверить, что за стеной кипит шумная уличная жизнь; здесь тишина, как в хорошей лаборатории. Неустанно пишет «Нестор летописец», застывший белой статуей, для которой здесь нашлось такое хорошее место. Тихо движется фигура верного хранителя рукописных сокровищ, всегда готового прийти на помощь и советом, и справкой; тихо шелестят за столами страницы многовековых рукописей и книг. Медленно, шаг за шагом, строчка за строчкой творится научная работа, результаты которой выйдут далеко за эти высокие стены, попадут и на шумящие за ними улицы; в листах газет и журналов будут разнесены по всей стране, станут на полки среди книг Публичной библиотеки.

Проходят года, меняются поколения ученых, но работа здесь идет не останавливаясь. И попрежнему, как *spiritus movens* Рукописного отдела, тихо движется замечательная фигура хранителя, при жизни перешедшего уже в историю и легенду. Редкая юбилейная дата, как прожектором, неожиданно осветит пройденный путь и тогда ярко встает все то, что сделал Иван Афанасьевич и для своей страны, и для науки, и для всех ученых. Однако этот прожектор бросает лучи и на страницы нашей жизни и на листы тех рукописей, что оставили в ней неизгладимый след...

### 1. Старый апокриф

(1906)

Совсем молодым магистрантом, только что кончившим университет, сижу я в Рукописном отделе. Передо мной на столе пять листков пергамента — все, что осталось от большой когда-то рукописи. Но эти листки и теперь бесценны. «Из коллекции Тишендорфа» — многозначительно прошептал Иван Афанасьевич, принеся их откуда-то из таинственных сокровищниц отдела. С особым чувством рассматриваю я их. «Писано в 272 году по годам арабов» — стоит в конце: рукопись на тысячу лет старше меня. Я вчитываюсь в этот апокриф, где Сатана беседует со Смертью; я понимаю, почему церковь не включила его в свой канон — слишком ярко отражены в нем человеческие чувства, не так, как подобает по уставу монахам. Подпись обстоятельна: «Писал этот список Авва Антоний багдадский в монастыре святого Саввы, а просил его написать Авва Исаак дьяк горы Синая». И сквозь эти строки, как живых, вижу я отшельников, точно сошедших со страниц апологов Лескова. Их разделяет пустыня, но она не может прервать дружеского обмена литературой; дикие бедуинские племена не в силах закрыть дорогу рукописи, и она совершает свой путь из Палестины на Синай.

Через год я сам бродил уже около Мертвого моря и ночевал в монастыре святого Саввы. Толпа образов окружила меня. Вспоминалась поэма Алексея Толстого «Иоанн Дамаскин» — ведь здесь

Дамаскин посадил пальму, и потомок ее, единственный в этой местности, и теперь осеняет небольшую площадку. Может быть под этой пальмой «Авва Антоний багдадский» и писал в 885 году рукопись, конец которой бережно хранит в 20-м столетии Рукописный отдел нашей библиотеки.

### 2. Переводчик Крылова

(1922)

Странную рукопись вынес мне сегодня Иван Афанасьевич. Я все пытаюсь проникнуть в отношения арабов к покоренному населению завоеванных ими стран, хочу понять связи мусульман с христианами, объяснить распространение арабского языка в Сирии. В инвентаре я нашел упоминание неизвестного арабского евангелия и просил его достать, а он принес какой-то большой лист бумаги, едва уместившийся на столе. Развернув его, я с изумлением увидел два слова, выписанные арабскими буквами во весь лист бесчисленными пунктирными линиями: «Александр Николаевич». Я сперва остолбенел и только взглядевшись обнаружил, что принятое мною за пунктир — на самом деле мельчайшие строки арабского письма. В этих-то строчках в двух словах и оказался выписанным по-арабски весь текст евангелий. Но при чем тут «Александр Николаевич»? Когда из «Отчета» Библиотеки я узнал, что рукопись поступила в 1868 году от Ризкаллаха Хассуна, мне все стало ясно, и ряд нитей потянулся к этой оригинальной фигуре каллиграфа и политика, поэта и авантюриста. Арабский националист, он, спасая свою жизнь, бежал из Турции через Кавказ в Россию, кажется не без содействия нашего дипломата в Константинополе генерала Богуславского, который был когда-то приставом при Шамиле в Калуге. Ряд лет Хассун провёл в Петербурге, наивно пытаясь добиться, чтобы Александр II помог основать самостоятельное арабское государство. Для поднесения ему и была предназначена, очевидно, эта рукопись — искусный каллиграфический фокус.

Отчаявшись в своих попытках, Хассун переселился в Англию, откуда ядовитыми сатирами и зажигательными листовками вел борьбу с турецким султаном и туркофильской партией среди арабов. Большим другом его стал тоже талантливый человек и тоже немного авантюрист, востоковед Пальмер, таинственно убитый бедуинами на Синае в 1882 году; за два года до этого также таинственно кончил свою жизнь в Англии и Хассун, как говорят, отправленный агентом турецкого султана.

Хассун был большой любитель и знаток литературы: каллиграфически переписанные им рукописи украшают и другие собрания, они попадают и в Бейруте, и в Алеппо, и в Лондоне. России он отплатил за гостеприимство прочувствованными, хотя наивными стихами и очень оригинальным переводом нескольких басен Крылова на арабский язык.

### 3. Современник Хулагу

(1911)

Сегодня я уже думал, что Иван Афанасьевич ошибся и достал мне не ту рукопись, которую я просил.

Вчера неожиданно я наткнулся у Брокельмана в «Истории арабской литературы» на упоминание, будто в Публичной библиотеке сохранились образцы каллиграфии знаменитого историка Алеппо Кемаль ад-дина. Мне стало стыдно: опять мы не знаем, что у нас находится. А ведь Кемаль ад-дин был известен не только как историк или дипломат, но и каллиграф. Сам грозный Хулагу, разорив его родной Алеппо в 1260 году, соблазнил Кемаль ад-дина вернуться из Каира, куда он спасся, на высокий пост главного судьи в Сирии.

Понятно, что утром я торопливо шел в библиотеку, волнуясь и как-то не веря, что буду держать в руках автограф знаменитого человека эпохи великих монгольских завоеваний. Иван Афанасьевич, как всегда, быстро и несколько таинственно, вынес рукопись. Я с недоумением стал ее перелистывать. Передо мной был изящный альбом каллиграфических образцов, но гораздо более позднего времени XV—XVI века. С интересом я любовался замечательными упражнениями из Герата, Бухары, Самарканда; мне стало ясно, что я вижу памятник каллиграфического искусства знаменитой Гератской школы, где алеппскому историку XIII века места не было. Однако ошибки в ссылке тоже не было, а Иван Афанасьевич уже начинал волноваться, доказывая, что рукопись соответствует шифру. Тогда я внимательно принялся вглядываться в подписные образцы и быстро обнаружил, что среди них несколько раз фигурирует какой-то Кемаль ад-дин, но это, конечно, мог быть только тезка знаменитого историка. Как часто случается, и я поспешил заподозрить в ошибке старика Дорна с его каталогом, но, раскрыв книгу, сейчас же убедился, что он вовсе не сопоставлял этого каллиграфа с историком. Значит, ошибся сам Брокельман, а Иван Афанасьевич, как всегда, оказался прав. Я возвращался домой несколько разочарованный тем, что не увидел почерка знаменитого человека, но успокоившись, что мы не проглядели редкого автографа.

Позже судьба меня все-таки побаловала: в Лейденской библиотеке я обнаружил целую историческую рукопись, переписанную самим Кемаль ад-дином в Багдаде в феврале 1257 года, только за год до того, как «город мира» был разорен Хулагу.

### 4. „Заложник двойной тюрьмы“

(1912)

Все-таки старый Дорн, сказать правду, повинен во многих прегрешениях и не мало фантазий насчет наших рукописей с его легкой руки из каталога пошло гулять по свету. Но, поми-

ная его лихом, мы часто забываем, что он работал в то время, когда не было еще не только Брокельмана, но даже Хаджжи Халифа не был полностью напечатан. И кто знает, меньше ли грешим мы сами, имея даже таких предшественников. Кроме того, иногда недоразумения Дорна утешают нас тем, что позволяют делать маленькие открытия.

Лет тридцать назад я просматривал в Рукописном отделе один сборник небольших трактатов. Рукопись, хотя и поздняя — начала XVI века, действительно была хороша: небольшого продолговатого узенького формата, она походила по типу на альбом и была переписана в Египте изящно и аккуратно каким-то любителем, понимавшим толк в филологии. На последнем месте там стояли, по словам Дорна, извлечения из грамматических трактатов и посланий ат-Тибризия. Я пробежал их не особенно внимательно, зная автора как очень трудолюбивого, но довольно ординарного комментатора. Я с улыбкой вспоминал только, как после смерти ат-Тибризия в Багдаде, где он кончил свои дни профессором в славном Медресе ан-Низамийя, показывали громадный словарь, который он притащил в молодые годы на спине из Тавриза в Сирию, чтобы протудировать его у знаменитого слепого поэта и ученого Абу-ль-Аля в Маарре около Алеппо. Словарь выглядел, точно его вытащили из воды: настолько он пострадал за долгий путь от поту на спине.

И вдруг, проглядывая последнее послание, я почувствовал, что стиль его мало напоминает скучноватого ученого схолиаста: мне почудилась по адресу вельможного адресата какая-то ирония, закутанная эффектными риторическими фигурами и фразами наружного самоунижения. Внимание насторожилось; довольно было двух-трех справок и я убедился, что передо мной не извлечение из посланий ат-Тибризия, как говорил Дорн, а оригинальное послание самого знаменитого слепца из Маарры, которое его ученик сохранил так же бережно, как принесенный на спине словарь. Оно сразу заиграло всеми красками острого насмешливого ума, и я уже улыбался над всеильным египетским везирем, который прослышал про чудачковатого поэта-филолога и пожелал удостоить его высокой чести, чего безуспешно добивались многие, пригласив к своему двору. Однако специальный гонец, отправленный к правителю Алеппо с приказом доставить слепого старика, вернулся только с извинительным посланием, которым я и наслаждался. Абу-ль-Аля писал в обычном для него тоне изящной, едва уловимой иронии, что он недостойн такого почета и лучше ему, «заложнику двойной тюрьмы» — слепоты и одиночества — оставаться в своем добровольном заключении. Трудно теперь сказать, понял ли всемогущий везирь всю тонкость рассыпанной иронии, так как его едва ли не в том же году казнил владыка — фатимидский султан Египта.

Так недоразумение в каталоге Дорна лишней раз натолкнуло меня на давнего любимца Абу-ль-Аля, рукописи которого нежиз-

данно доставляли мне радость на жизненном пути и в Каире и в Лейдене, сочинения которого сопровождали меня и на Черноморском побережье и даже тогда, когда других книг у меня не было.

### 5. Из Сицилии через Персию в Петербург

(1929)

В рукописи по хорошему обыкновению вклеен листок с предварительным ее описанием, которое давно составил бывший заведующий Восточным отделом библиотеки. Описание беспомощно; оно говорит только о том, что рукопись — какое-то географическое сочинение с картами странного вида, где упоминаются между прочим русы. И на этом же листке внизу вкось характерным ломаным почерком Виктора Романовича Розена карандашом приписано: «Да ведь это же Идриси!» Так и чувствуется, что в этом лаконическом возгласе вылилось негодование на беспомощного автора аннотации, который не узнал такой выдающийся памятник. Рукопись и сама по себе интересна: в 90-х годах XIX века ее купил в Тегеране полковник Косаговский, возглавлявший недоброй памяти казачью бригаду, а начальник Генерального штаба, к которому она попала в руки, здраво рассудил, что лучшее место для нее в Публичной библиотеке, где ее бережно хранит Иван Афанасьевич.

Долго был ее путь, и как она очутилась в Иране — мы верно никогда не узнаем. Писана она прекрасным магрибинским северо-африканским шрифтом с аккуратно вычерченными своеобразными картами — самым замечательным памятником европейской картографии XII века. Европейской — это не оговорка: ведь автор, аль-Идриси, потомок владетельных североафриканских эмиров, работал при дворе норманского короля Сицилии Рожера, собирал рассказы арабских, варяжских и славянских купцов — «гостей», знал не только Птолемея, но и Оросия.

Рукопись наша, конечно, не автограф, но по времени могла быть копией с него; через много рук и в Африке, и в Азии, и в Европе она прошла, прежде чем найти успокоение на полке Рукописного отдела. А где ее первая половина, отставшая на этом пути, цела ли она, мы так и не знаем. Но рукописи иногда живучее, чем люди; может быть, и она когда-нибудь выплывет в неожиданном месте, а будущий Брокельман аккуратно занесет ее в свой реестр, но вероятно он не сразу догадается, где ее вторая половина...

### Эпилог

(1941)

...Они окружают меня. В бессонные ночи, в часы болезни, когда голова, охваченная лихорадочным жаром, не управляет мыслями, они толпятся вокруг меня, робко, точно боязливо подви-

гаются ко мне. В их шелесте я различаю тихие голоса: «Ты не забыл нас? Ты не уйдешь от нас? Ты помнишь, как ты возвращал нас к жизни, как, взглядываясь в полустертые строки, ты медленно открывал их смысл, как в торопливой или вычурной приписке ты вдруг узнавал нашу историю и легкий холодок волнения пробежал у тебя по спине. Одно блеснувшее перед тобой имя давало нам место в былом и мы опять оживали уже навсегда, пролежав в земле или в забытых сундуках сотни лет».

Они обступают меня со всех сторон — и желтоватые дорогие пергаменты со строгим куфическим шрифтом или неторопливым письмом сирийских монахов, и блестящие страницы вошеной бумаге роскошных экземпляров из библиотек мамлюкских султанов, и бедные, скромные, но бесценные автографы ученых, и торопливые записи их учеников, и уверенные, красивые, но холодно-бездушные почерки несхи профессиональных переписчиков. Одни листы чисты и свежи, как будто только что вышли из рук первых владельцев, другие обожжены и залиты водой, — следы бедствий, которые не щадили их, как не щадят они и людей. Точно страшные инвалиды, как мрачный укор людской жестокости, глядят рукописи, лишенные листов в начале и в конце; мне больно смотреть на зияющие рубцы их рваных ран.

Они все окружают меня и шепчут: «Ты не забыл нас? Ты придешь к нам? Мы ведь сторицей отплатили тебе за то, что ты вернул нас к жизни. Ты помнишь, как в часы обид и огорчений, усталости и забот ты приходил к нам и с наших страниц неслись к тебе голоса верных друзей, которые всегда с радостью тебя встречают, которых никто у тебя не отнимет, над которыми сама смерть не властна. Целые неведомые главы истории открывались тебе, толпы живых людей сходили на твоих глазах с наших листов...»

Они шепчут, я взглядываюсь в них, узнаю и улыбаюсь им; страницы жизни своей и чужой встают перед моим взором, и ярких картин прошлого не скрывает больше туман веков...



## II. ИЗ СКИТАНИЙ ПО ВОСТОКУ

### 1. Книги и люди

(Вместо введения)

(1908—1910)

Мрачно начинался для меня 1908 год. В январе умер мой учитель Виктор Романович Розен; при его жизни я не сознавал, как двухлетние занятия привязали меня к нему, а теперь неотступная мысль о его смерти целиком поглотила мои чувства. Мне казалось, что в науке и в жизни я сразу предоставлен самому себе. Не на меня одного угнетающе подействовала эта утрата: его старший ученик иранист В. А. Жуковский, потрясенный его смертью, так и не оправился до конца своих дней; мой предшественник А. Э. Шмидт на несколько лет впал в тяжелую депрессию. Мое настроение усиливала какая-то странная болезнь вроде коклюша: ее не могли определить врачи. По нескольку раз в сутки она заставляла меня задыхаться почти до потери сознания.

Смолоду я не любил передвижений, но теперь видел, что надо как-то переменить жизнь и стал с нетерпением ждать поездки на Восток, намеченной еще Розеном.

Как все это произойдет, я представлял себе очень смутно, и моя подготовка выражалась только в занятиях французским языком, в котором раньше у меня никогда не было практики. Попытался я запасть какими-нибудь полезными сведениями у нашего университетского лектора арабского языка, уроженца Триполи в Сирии, но и это оказалось тщетным; он только рассказал мне, как на привале варить кашу из пшеницы, а главным образом, по обычаю, издевался над своими земляками, удивляясь, что мне за охота ехать к ним и обрекать себя на съедение насекомым. После неудачных опытов подготовки к путешествию я все больше сторонился людей и моим единственным прибежищем опять становилась университетская библиотека, где я сидел теперь не только по утрам, но и по вечерам в те дни, когда она бывала открыта. Здесь я забывал все, одурманивая себя, запоем поглощая научную литературу по арабистике, которую мне по молодости хотелось охватить чуть ли не за три века.

Так, в каком-то мрачном полусне прошло полгода, и наступило время отъезда. Как я поеду, мне попрежнему было неясно: я знал тогда одну только С.-Петербургско-Варшавскую железную дорогу, а из больших городов нигде не бывал, кроме Вильны и Петербурга. Однако мое подавленное состояние порождало какую-то апатию ко всему предстоящему.

Точно в дымке промелькнули Одесса, Константинополь, Смирна и в июле я оказался в Бейруте. Разочарований было много, и прежде всего в самом себе. Хорошее сравнительно знание арабского литературного языка оказывалось мало полезным для разговорного, который я представлял себе только по некоторым фольклорным записям; на улице меня почти не понимали, а сам я понимал быструю арабскую речь с большим напряжением. Между тем, «заговорить» мне было нужно, это ведь являлось одной из целей моей поездки. Следовало принять энергичные меры, и я решил на два месяца уехать в маленькое местечко на Ливане, где не мог слышать никакой другой речи, кроме арабской.

Новая природа и новые люди на первых порах захватили меня целиком, и книги, казалось, отошли на задний план. Я старался быть все время на людях для практики в языке. Общительные экспансивные ливанцы с любопытством смотрели на меня и везде радушно принимали необычного для них «москбчи», но мне самому при «нелюдимом» характере давалось это трудно.

«Ты только покупаешь и ничего не продаешь», — острили бойкие на язык мои новые друзья, — «только слушаешь, а не говоришь». Переделать свою натуру не удавалось, и я опять начинал тосковать по книгам, с которыми чувствовал себя свободнее, чем с людьми. А книг было мало и я с большей тщательностью, чем они того заслуживали, рассматривал скудные остатки хорошей в былом библиотеки монастыря, где когда-то сумели основать одну из первых по времени арабских типографий. Я ловил всякое печатное слово; от доски до доски прочитывал эфемерные газеты, число которых росло не по дням, а по часам под влиянием только что происшедшего младотурецкого переворота. Местечко, как почти все поселки на Ливане, было связано благодаря эмигрантам с Америкой, и здесь по скудным еще образцам я впервые открыл существование «сиро-американской» литературы, которую впоследствии пришлось открывать и для Европы. Все это меня живо захватывало, и книги опять вступили в борьбу с людьми. Говорить-то я научился, но «продавать» попрежнему не любил, предпочитая «покупать».

Две зимы, проведенные в Бейруте в полуфранцузском, полуарабском Университете св. Иосифа, как будто бы восстанавливали это равновесие между книгами и людьми, но сами встречавшиеся мне здесь люди были «книжными», и с ними я сходилась легче. Какие это были имена и среди европейцев и среди арабов! Блестящий историк, эффектный лектор Лямменс, бельгиец по

происхождению; тонкий диалектолог француз Ронзеваль с громадным запасом юмора, но весь пронизанный каким-то внутренним страданием. А рядом, грузный, но подвижной, приветливый, вечно с корректурами своего журнала Шейхо, уроженец Мардина в верхней Месопотамии, насыщенный, как губка, арабской литературой, всегда с готовой статьей в ответ на обращенный к нему вопрос; его друг, серьезный миниатюрный дамаскинец Салхани, тонкий знаток поэзии и «1001 ночи», в 90 с лишним лет продолжавший текстологические изыскания над стихами своего любимца аль-Ахтала, друга молодости Иоанна Дамаскина.

Точно метеоры сравнительно с ними мелькали иногда заезжие ориенталисты с Запада — чудаковатый эпиграфист Марк Лидзбарский, направлявшийся в Пальмиру изучать надписи, — он боялся езды верхом и вернулся обратно из Бейрута в Европу; насквозь американизированный, склонный немного к рекламе, семитолог Готтхейль; первым в Европе провидевший талант Марра бельгонец Петерс, большой поклонник Достоевского, читавший его в подлиннике. Только с ним, да еще с итальянцем Наллино, с которым я позже прожил месяц в Каире в пансионах, расположенных через улицу, у меня на долгие годы сохранилась переписка. Наллино я раньше знал исключительно как специалиста по арабской астрономии; теперь он поразил меня широким знанием самых разнообразных областей литературы и большим мастерством своих лекций, которые ему приходилось читать по-арабски в Египетском университете.

Книжными людьми оказывались обыкновенно и арабы, с которыми сталкивал меня случай. Зейдан — романист, историк и журналист, стоял тогда в зените своей популярности, но не мог забыть про закрытую для него родину и был до слез растроган, услышав, что я говорю на родном ему сирийском наречии. Случайно я открыл восходившую звезду Рейхани: слава его, как лидера сиро-американской школы, была еще впереди, но необычный облик сразу заставлял чувствовать большой талант. Трудно было предугадать, что готовит судьба многим из тех, кого я встречал. Из скромного учителя Константина Янни, поразившего меня в Химсе своей талантливой игрой в школьном спектакле, со временем вышел организатор авиации у шерифа, а затем и у короля Хиджаза Хусейна. Редактор маленькой дамасской газеты Мухаммед Курд Али стал после первой мировой войны президентом Арабской академии. Еще больше интересных людей проходило у меня перед глазами летом, когда я бросал Бейрут и скитался то на Ливане, то в мрачных иудейских горах, или мягких равнинах Галилеи. Деревенские учителя, провинциальные журналисты или корреспонденты газет, сельские врачи — все они меня встречали дружески; трудности языка давно уже были мною забыты, и беседы затягивались на часы после первой же встречи. Все они кипели и волновались, мечтали о национальном освобождении и в то же время дышали своей литературой, умиля-

лись перед памятниками ее прошлого, которые продолжали для них жить.

Здесь у нас находился общий язык; иногда и я начинал «продавать», неожиданно и незаметно для себя не только устно, но и в печати. Странный псевдоним «Русский скиталец», изредка появлявшийся под стихотворениями в прозе в маленьком журнальчике в Хайфе, часто оказывался известным, а иногда к моему конфузу и разгаданным в самых неожиданных местах. И часто долгие беседы кончались горячей просьбой: «Оставайся с нами!»

Но так же все время меня звали книги, и они оказались сильнее.

Богатая красочными людскими фигурами картина предстала предо мной на Востоке, но богатство рукописей захлестнуло меня, и я не мог уже очнуться. До того я знал только единичные списки, здесь меня встретили и сами шли мне в руки целые коллекции в сотни и тысячи номеров; я чувствовал себя маленьким мальчиком на берегу безбрежного моря и, как очарованный, не мог от них оторваться. Это было выше моих сил.

Шейхо первый ввел меня в тихую темноватую «восточную библиотеку» во втором этаже Университета св. Иосифа, созданную им. Каждую книжку он знал, и сам когда-то впервые выбрал для нее место на полке; каждая рукопись была приобретена им, и в каждой он бережно переложил листы сухими змеиными шкурками для предохранения от книжных червей. Каталоги и списки были, правда, только у него в голове и на всяких ему одному понятных листочках. Печататься эти списки начали значительно позже, уже после первой мировой войны, а частично даже после его смерти. И грустно было мне читать при описании некоторых, хорошо знакомых рукописей в конце лаконичную фразу: *Disparu durant la guerre* (исчезла во время войны). Современное варварство не пощадило и эту лучшую в Сирии по своему порядку коллекцию.

Чаще всего я бывал единственным читателем в Восточной библиотеке и мог проводить в ней любое время с восьми до восьми. Сам Шейхо торопливо пододвигал к столику маленькую деревянную скамеечку для ног, чтобы они не застывали на каменном, особенно холодном зимой полу, и предоставлял мне делать все, что угодно. Сам он чаще всего работал в своей скромной комнатке напротив библиотеки, сутками просиживая за бесконечными корректурами и писанием статей для своего аль-Маширика; изредка он торопливо, с неизбежным каламом за ухом, прибегал за какой-нибудь справкой; иногда он появлялся с маленькой экскурсией или отдельными туристами из знатных арабов, чаще проезжих европейцев; он показывал им свои сокровища, попутно демонстрируя и меня, как «москоби», знающего арабскую литературу. Посетители смотрели недоверчиво, нередко наивно меня экзаменовали.

Порядки в библиотеке для меня были самые патриархальные:

если я хотел взять какую-нибудь книгу домой, мне надо было только записать ее самому в большой тетради, всегда лежавшей открытой на конторке. Две зимы провел я в этой библиотеке, упиваясь богатством самых разнообразных восточных изданий и тщательным подбором европейской литературы по арабистике. Не мало материалов для своей диссертации об аль-Вава я извлек отсюда; немало сообщил мне сам Шейхо, в своих разнообразных поисках часто натывавшийся и на моего поэта. Но рукописей стихотворений аль-Вава здесь не нашлось, и по следам их я поехал в Хедивскую, как она тогда называлась, библиотеку в Каире.

Это было учреждение уже совсем другого типа. Оно занимало второй этаж большого специально выстроенного здания европейского вида, хотя и в восточном стиле; в первом помещался не менее знаменитый Арабский музей. Из громадного вестибюля широкая лестница вела в выставочное помещение с витринами, где располагалась исключительная коллекция старинных коранов и хорошее собрание рукописей с миниатюрами. С той же площадки проходили и в большой читальный зал с рядом длинных столов. Посетителей было всегда довольно много, но половину их составляла учащаяся молодежь, а другую — профессиональные переписчики рукописей, сидевшие за двумя столами. Штат служащих был достаточно большой, конечно, исключительно из арабов. Директором, однако, по старой традиции библиотеки с ее основания до первой мировой войны всегда был немец, при мне известный ориенталист Б. Мориц, мало располагавший к себе, суховатый, средних лет человек в европейском костюме, но с неизменной феской; он раз в день обходил все помещения.

Рукописи аль-Вава сейчас же нашлись и мне их выдали, посадив за стол с переписчиками, тоже в фесках. Выдали и особую постоянную конторку, в которой надо было держать рукопись в раскрытом виде, придавив тяжёлым стеклом. Я погрузился в сличение ее с привезенными из Петербурга своими копиями и по обыкновению мало обращал внимания на окружающих. Раз за все время ко мне подошел Мориц с каким-то незначительным вопросом по-французски.

Через несколько дней работы мне показалось, что мое появление вызывает среди переписчиков за тем же столом словно беспокойство, но я не придавал этому значения. Однако в ближайший раз, после моего прихода они о чем-то пошептались между собой, затем из их среды отделился, повидимому, старший и подошел ко мне. Начав издали, в длинной речи он стал излагать, что они люди бедные, живут только этим заработком, я же иностранец и могу найти себе другое занятие; они готовы предложить мне отступное, лишь бы я не отбивал у них хлеб. Я сначала не понял, в чем дело, а потом, рассмеявшись, поспешил их успокоить и разъяснил, что работаю над рукописями для себя, не с целью заработка. С той поры между нами установи-

лись хорошие отношения. В большинстве это были все тихие, скромные люди пожилого возраста, обыкновенно без всякого образования, редко понимавшие то, что они переписывают; некоторые из них были большими любителями и по-своему знатоками каллиграфии, но уже не находили ей настоящего применения. Последние представители вымирающей профессии, они не могли конкурировать ни с типографским станком, ни с начинающими только что входить в употребление фотокопиями с рукописей. Через какой-нибудь десяток лет их, вероятно, окончательно подрезала быстро распространившаяся пишущая машинка с арабским шрифтом. Иногда и среди них попадались интересные люди: один, с которым мне часто приходилось возвращаться из библиотеки домой, оказался бабидом. Он познакомил меня с каирской общиной бабидов-бегаидов; во главе ее стоял тогда давний ашхабадский учитель нашего знатока бабизма капитана Туманского.

10055  
Вообще же в хедивской библиотеке я чувствовал себя как-то неуютно. Она была в большом порядке, имела печатные каталоги, хотя составленные несколько примитивно, но доступные и в Европе. Однако вся обстановка казалась официальной и холодной: рукописи можно было получать только по одиночке, с точной ссылкой на каталог и, значит, на какие-нибудь неожиданности и «открытия» рассчитывать не приходилось. О доступе непосредственно к местам хранения или о просмотре не попавших в каталог рукописей не могло быть и речи. Персонал, довольно многочисленный и исполнительный, все же производил впечатление чиновников с малым интересом и пониманием хранимых ими сокровищ. Поэтому при всем богатстве хедивской библиотеки она дала мне как-то сравнительно мало и «для души» и для науки. Покончив со сличением заранее намеченных рукописей, я поспешил перебраться в библиотеку аль-Азхара, высшей мусульманской школы, основанной еще в X веке.

Здесь картина была совершенно иной. Количественно по своим рукописям библиотека не уступала хедивской и в системе хранения стремилась всячески ей подражать, начиная с каталога и типа шифровки. Однако каталоги существовали только в рукописном виде и за пределами аль-Азхара нигде не были известны. Что ни строчка, здесь можно было наткнуться на совершенно никому неизвестные перлы, и один беглый просмотр увлекал как самый интересный роман. Внутренняя жизнь рукописного отделения при его богатстве складывалась достаточно примитивно. Все рукописи помещались в одной старинной, приспособленной для этого «куббе» — мавзолее, где находилась и канцелярия, куда в перерыв заходили иногда шейхи-профессора.

Своеобразная архитектура плохо вязалась с обычными европейскими книжными шкафами, восточные диваны из подушек по стенкам — с шаблонными венскими стульями.

Ведал рукописями один шейх, у которого было много и дру-

гих обязанностей; в его отсутствие ключи оставались в канцелярии, мне обыкновенно открывали шкафы и предоставляли в них рыться. Днем я занимался преимущественно общим просмотром, так как в помещении было слишком суетливо и все приходящие надоедали мне вопросами; на ночь я без особого труда выпрашивал у шейха отдельные рукописи себе на дом. Опять они совсем оттеснили людей; я только жалел, что все не хватает времени и приходится работать постоянно в лихорадочной спешке. Открытия точно торопились обогнать одно другое и часто заставляли меня вспоминать Петербург и В. Р. Розена: то мне попадался еще один том историка ас-Сулия, которого он когда-то нашел в Публичной библиотеке, то неизвестное сочинение его любимца философа-скептика Абу-ль-Аля, то рассказ про еретика аль-Халляджа, о котором когда-то он делал доклад. Я тонул в этом море, торопливо делал выписки, иногда ограничивался одними заглавиями, наивно надеясь, что еще когда-нибудь попаду в Каир...

В третью большую библиотеку здесь я не проник, так как владелец ее был в отъезде. Она стала известной позже, а впоследствии по завещанию даже попала в состав бывшей Хедивской, теперь Египетской библиотеки. Тогда она была знакома только немногим любителям вроде Зейдана, от которого и я про нее узнал. Принадлежала она Ахмеду Теймуру паше; оба сына его со временем приобрели крупные имена в литературе — один, как создатель египетской драмы, второй — новеллы. Отец их — библиофил и знаток рукописей — составил исключительное собрание, где каждый экземпляр сопровождался его описанием, а иногда и целым трактатом владельца.

Едва ли не половина их представляла ценнейшие уники, но со всем этим я мог познакомиться только значительно позже заочно по переписке с владельцем.

Бейрутские и каирские сокровища могли заслонить все другие собрания, которые мне довелось видеть в Сирии и Египте, но и они живо стоят у меня перед глазами. И в европейского типа библиотеке Александрии я пережил не мало волнений от своих находок; и в иерусалимской заброшенной библиотеке имени аль-Халиди особым чувством меня наполняла мысль, что основатель рода был знаменитый Халид ибн аль-Валид, завоеватель Сирии в VII веке; в строгой, но очень систематической библиотеке маронитской митрополии в Алеппо я видел, как бережно хранители относились к наследию и памяти одного из первых деятелей литературного возрождения в Сирии XVIII века Германа Фархата. И каждая библиотека, большая и маленькая, скромная и богатая имела свой облик, но каждая встречала приветливо пришедшего в нее с интересом и радостно открывала свои сокровища. Только в былой столице омейядов Дамаске испытал я раз огорчение, но судьба со временем загладила и его, направив мне те самые рукописи, которые хотели от меня скрыть. Попадалось мне много и домашних маленьких собраний, тоже иногда доставлявших ра-

дость. Некоторые неожиданно иллюстрировали какую-нибудь деталь из истории арабской культуры и литературы.

В крохотной деревушке на Ливане у скромного школьного учителя я обнаружил случайно полный подбор арабских национальных словарей и вообще старой и новой грамматической арабской литературы. Это еще неудивительно, так как учитель был большой любитель и знаток такого рода произведений. Однако гораздо удивительнее, что всю эту литературу он знал наизусть, и, пожалуй, самое удивительное то, что он был слеп от рождения и запомнил все эти книги на слух после прочтения ему раза два. Проверяя его в разных местах по 20-томному словарю «Лисан-аль-араб» (Язык арабов) я впервые ясно понял, как Абу-ль-Аля мог запомнить случайно прослушанное им письмо на неизвестном языке.

Так неожиданно и причудливо переплетались, часто неразрывно, в моих скитаниях по Востоку люди и книги. Но чем дальше шло время, тем больше книги оттесняли людей. Ведь меня на Востоке поглотили не только рукописи; здесь впервые, правда в разбросанных библиотеках, я имел в своем распоряжении все арабские издания за все время возникновения печати и до наших дней, из всех стран Старого и Нового Света. Впервые, наконец, передо мной открывалась здесь вся новая арабская литература, о которой до поездки на Восток я имел более чем смутное представление, а в Европе ее знал, вероятно, только один Мартин Хартманн.

Книги вводили меня в новый мир и показывали мне людей легче и быстрее, чем это удавалось мне самому с каким-то усилием при непосредственном наблюдении. Понятно, что с книгами я чувствовал себя свободнее, чем с людьми.

Так книги, не первый уже раз в моей жизни, вступили в борьбу с людьми. Победа осталась за ними и победа эта, думалось мне, была окончательной. Жизнь, однако, меня научила, что людей нельзя отделить от книг; книги опять привели меня к людям и только тогда я понял по-настоящему историю нашей науки.

## 2. Грамматический трактат или антирелигиозный памфлет?

(1910—1932)

Пребывание мое в Каире подходило к концу, а мне все еще не хотелось оторваться от рукописей библиотеки аль-Азхара — высшей школы всего мусульманского мира. Если в хедивской библиотеке я мог заранее познакомиться с печатными списками, то здесь краткие инвентари существовали только в рукописном виде в одном экземпляре и манускрипты для просмотра приходилось выбирать спешно в самой библиотеке по случайным и даже ошибочным иногда заглавиям.

В последние дни, в начале января 1910 года, попался мне

какой-то «трактат о флексии» Абу-ль-Аля, слепого философа-поэта. Заинтересовал меня трактат не сам по себе: его автор был хорошо мне известен и я собирал без особой цели все, что могло к нему относиться. Он как бы по наследству перешел ко мне от моего учителя В. Р. Розена, который в последние годы жизни увлекался этим остроумно-язвительным скептиком, проникавшим до глубины человеческой души в тонком анализе пессимиста, своей мягкой иронической улыбкой затушевывая горькую безнадежность тяжелых мыслей.

В обнаруженном теперь трактате я, конечно, не рассчитывал найти что-нибудь новое для характеристики самого Абу-ль-Аля в этом смысле и только недоумевал, почему так редко упоминается сочинение и совсем неизвестны другие его рукописи. Удивлялся со мной и выдававший рукописи шейх аль-Махмасани, один из хранителей библиотеки, с которым мы частенько беседовали о всяких литературных сюжетах и даже о том, трудно ли научиться французскому языку, что было уже известным вольнодумством с его стороны. Он чувствовал ко мне особую симпатию: в аль-Азхаре ему были подчинены мусульмане из России, и он внутренне как бы распространял свою опеку и на меня.

По внешности рукопись не представляла интереса. Это была обычная копия профессионала-переписчика XIX века с какого-то мединского оригинала, который он, повидимому, не всегда грамотно разбирал. За то с первых же строчек мне стало ясно, почему сочинение было так мало известно: если бы у арабов существовал какой-нибудь индекс запрещенных книг, трактат занял бы в нем почетное место. Действительно, в сочинении по внешности речь идет о грамматических сюжетах, причем разбирается правоверный и популярный вопрос о разных формах склонений имен ангелов с обычными цитатами из Корана и стихов, с упоминанием крупных авторитетов, с бесчисленными литературными намеками. Однако это лишь оболочка: все содержание проникнуто скрытой иронией, уловить которую не легко, если не знать литературного кругозора Абу-ль-Аля, если не чувствовать типичных для него приемов построения, безукоризненно маскирующих перед непосвященным смелую мысль. На самом деле, в этом как бы традиционном грамматическом трактате скрыт остроумный и тонкий памфлет на мусульманские представления об ангелах, — прием, к которому Абу-ль-Аля прибег и в другом известном произведении «Послании о прощении», где с такой же изящной иронией он осмеял традиционные описания загробной жизни.

Я торопился пробежать строки малограмотного переписчика, мучительно стараясь восстановить сквозь его искажения мысли автора; иногда неожиданно какой-то яркий луч открывал мне затаенный намек, мимо других фраз я должен был проходить с беспомощным непониманием, не имея уже возможности рассеять

его в немногие остающиеся у меня часы в Каире. Мне приходилось ограничивать себя торопливыми краткими выписками. Возвращая рукопись в последний раз в спешке накануне своего отъезда шейху аль-Махмасани, я только сказал ему: «Если прочтаете когда-нибудь, поймете, почему это сочинение было так мало известно».

Поезд отходил рано утром; в последнюю минуту я с недоумением заметил шейха, который, запыхавшись, искал меня. Кизумлению стоявших на перроне он успел только прокричать в окно уже двигавшегося вагона: «Я всю ночь не спал; удивительно, как Абу-ль-Аля не сожгли вместе с его посланием!» Я без объяснения понял, что и ему стал ясен смысл этого «грамматического трактата».

Много лет прошло прежде, чем мне удалось проникнуть во все намеки слепого скептика, расшифровать все его литературные цитаты и реминисценции, но я никогда не забывал своего маленького открытия и только горевал, что В. Р. Розен до него не дожил; это было бы двойным праздником для нас обоих. За прошедшие годы я получил из Каира полную копию рукописи, которую по моей просьбе заказал известный журналист, переводчик Толстого, Селим Кобейн. Пересылая мне список, он, увы, с гордостью сообщал, что наконец-то нашел самую лучшую бумагу и чернила. Как и следовало ожидать, копия, каллиграфически снятая непонимающим оригинал переписчиком, мало мне помогла в тех местах, которые оставались для меня загадочными.

Летом 1914 года мне казалось, что я близок к завершению своего труда: в Лейдене в уютной маленькой зале университетской библиотеки, рядом со знаменитым среди арабистов с XVII века рукописным собранием Legati Varneriani (Варнеровского фонда), под взорами старинных портретов Скалигера и Гуго Гроция я погрузился во вторую ставшую мне известной рукопись «Послания об ангелах». Она была значительно интереснее, прежде всего потому, что относилась к XVI веку, а кроме того представляла автограф полигистора дамаскинца, того самого, дневник которого помог когда-то В. В. Бартольд осветить некоторые моменты турецкого завоевания Сирии и Египта. Много отдельных мест она мне разъяснила и я с удовлетворением видел, что близок час, когда я буду в состоянии вернуть арабам забытый ими трактат в печатном виде, без искажений, внесенных переписчиками.

Но судьба и на этот раз была немилостива к Абу-ль-Аля. Вспыхнула мировая война и я добрался до родины без всех моих материалов, которые пришлось оставить в Голландии. Вернулись они ко мне только через десять лет, когда человечество перешло уже в новый этап своей истории. Для меня они не умирали ни на минуту и с чувством хорошо знакомого волнения я опять пересматривал копии рукописей, записи и всякие листочки об Абу-

ль-Аля. Восстанавливая с трудом и упорством международные научные связи, я к этому времени нашел неожиданно сотрудника в работе, такого же, как В. Р. Розен и его младший ученик, энтузиаста и поклонника этого слепца. То был египетский паша Ахмед Теймур, владелец лучшего в Каире частного собрания рукописей, составленного с редким знанием дела, с громадной любовью. Он всегда с удивительной щедростью открывал ученым всех стран свои сокровища и с редкой скромностью становился как бы сотрудником своего корреспондента, если чувствовал в нем вкус к арабской литературе. В его собрании нашлась еще одна рукопись «Послания об ангелах» и между Каиром и Ленинградом завязалась оживленная переписка. Опять поднялось обсуждение разных вариантов, коньектур, намеков. На аккуратных продолговатых четвертушках бумаги старческим, но каллиграфически изящным и твердым почерком, неделя за неделей слал мне Теймур паша свои выписки и соображения в ответ на мои вопросы или на приходившие ему самому в голову мысли. И каждый раз все с тем же волнением я открывал конверт и часто находил в нем все новые и новые открытия, иногда видел, как просто найденный неожиданно стих или подвернувшаяся пословица разъясняют мучивший нас годами намек Абу-ль-Аля. В сдержанных строчках писем Теймура я чувствовал, какую радость переживал он сам, воссоздавая произведение великого предка.

Летом 1926 года в уединении Черноморского побережья на Кавказе я мог, наконец, завершить работу по своеобразной реконструкции веками искажавшегося непонятного текста. В 1932 году послание Абу-ль-Аля было напечатано, через 22 года после того, как в аль-Азхарской библиотеке я получил от шейха невзрачную тетрадку с малограмотным списком.

Радость и горе шли и здесь рука об руку: в тот день, как я закончил работу, пришло известие о смерти Теймура паши, которому так и не удалось увидеть наш печатный текст. Его соплеменники теперь оценили произведение. Один из крупнейших писателей Амин Рейхани, по характеру творчества несколько родственник Абу-ль-Аля и много над ним работавший, отозвался оригинальным письмом. Стилизуя его в духе «Послания о прощении» и «Послания об ангелах», с изящным юмором он высказал от лица последнего благодарности ориенталистам, оживляющим памятники арабской литературы на поучение и радость самим арабам. Это было для меня лучшей наградой: я увидел, что в жизни, как и в науке, нашлось достойное место для сочинения, над которым работал двадцать лет и с которым сжился, как с родным.

Так закончилась история маленькой находки под куполом аль-Азхарской мечети, — находки, закрепленной теперь типографским станком Академии Наук на Васильевском Острове в Ленинграде.

### 3. Ненаписанная диссертация

(1910)

«Погибла юность достоиславно, владычица чудес; о если бы ее догнал бег летящих взапуски коней!»

Целый день сегодня почему-то звучит у меня в ушах этот стих арабского поэта и невольно вспоминается мне январь 1910 года, когда второй уже раз я возвращался из Каира в Бейрут.

«Город биржи и хлопка» Александрия мало меня интересовала; он издавна больше напоминал запад, чем восток, но все-таки я решил на несколько дней задержаться там. Мне хотелось познакомиться с Хабибом Зайятом, который в свободные минуты от дел по торговле сухими фруктами, раскинувшейся по всему миру, ухитрялся с тонким чутьем знатока и любителя извлекать из старых рукописей забытые картинку неведомых сторон арабской культуры и оживлять их в своих позже опубликованных статьях. Хотел я пересмотреть и рукописи городской библиотеки. Романист и литературовед Зейдан говорил мне в Каире, что в Александрийскую библиотеку попала часть библиотеки второго хедива, Ибрахима паши, сына знаменитого основателя династии Мухаммеда-Али. Письмо Зейдана сразу мне открыло ее двери.

Весь еще проникнутый впечатлениями аль-Азхара, этой высшей школы мусульманского мира, я увидел здесь уже совсем другую картину. Библиотека помещалась в новом европейском здании городского самоуправления; восточный отдел занимал одну большую залу с обычными книжными шкапами по стенам и длинным столом по середине. Других посетителей в это время не было, и хранитель охотно открыл отдел для меня одного. Ведал им молодой шейх, учившийся в аль-Азхаре, но если бы не его египетский костюм — своеобразный коричневый халат без ворота с широкими рукавами, — в нем трудно было бы признать выходца из этой школы. Очки, подстриженная клином борода, французский язык, который, повидимому, составлял для него предмет большей гордости, чем хранимые им арабские рукописи, — все это на первых порах производило впечатление, словно он переодетый европеец. Однако арабский язык и беседа об арабской литературе быстро стряхнули внешнюю оболочку, может быть навеянную общим стилем Александрии.

Рукописи оказались в порядке и имели даже краткий список, составленный по типу аль-азхарского, правда без выделения печатных изданий и манускриптов. При несомненно благих стремлениях быть на высоте европейских требований шейх все же имел слабое понятие о ценности вверенных ему сокровищ. Надежда, однако, меня не обманула: среди двух десятков заслуживавших внимания рукописей оказалось два настоящих перла — уника из области особенно тогда меня интересовавшей арабской поэзии. Одна сохранила стихи младшего современника

знаменитого сирийского историка Абу-ль-Фиды; поэт — большой патриот своего отечества, восторженный панегирист знакомого и мне города Хама с его садами и неумолчно звучащими «наурами», иногда бросал даже литературный язык и переходил к родному разговорному диалекту Сирии. Не торопясь, я сделал несколько выписок и лет через пять опубликовал их; сама рукопись и до сих пор остается уникалом. Она почему-то не слишком меня взволновала, зато вторая рукопись надолго нарушила мое равновесие. Просмотр ее я отложил на последние дни своего пребывания в Александрии, когда взял билет на пароход. Получив ее в руки, я с удовольствием стал рассматривать этот, как мне показалось, образчик каллиграфического искусства. Рукопись была датирована VI веком хиджры и носила все следы принадлежности к школе знаменитого Ибн-аль-Бавваба. На странице небольшого формата помещались едва три-четыре стиха, выписанных артистически очень крупным шрифтом с полной огласовкой и всеми знаками чтения. По оригинальному приему каллиграфов стих, не входивший в строку, загигался вверх более мелким шрифтом и эта своеобразная асимметрия как-то приятно оживляла рисунок. Краски, главным образом зеленого тона, несколько поблекли от времени и на них спокойно отдыхал глаз. Произведение принадлежало несомненно крупному мастеру своего дела и было выполнено не только со всей тонкостью детально выработанного искусства, но и с полной свободой настоящего артиста.

Вчитываясь постепенно в рукопись, я, однако, быстро забыл про ее внешность и весь был захвачен содержанием. Предомной проходили стихи талантливого поэта арабской древности, несомненно еще времен до Ислама, с богатыми картинами бедуинской жизни, которые с точностью почти фотографии воспроизводили в конкретных деталях всю обстановку и среду. Они были построены в строгом стиле древнеарабских касид с подчинением выработанному канону композиции. Иногда рельефные рисунки перемежались нотами рефлексии и начало одной пьесы: «Погибла юность достойно, владычица чудес; о если бы ее догнал бег летящих в запуски коней!» — сразу врезалось мне в память. Имя Селямы ибн Джандала, как поэт был назван в рукописи, очень смутно мне припомнилось. Конечно, он не принадлежал к плеяде авторов знаменитых «муаллак» или «диванов», так называемых «шести», но крупный по-своему талант чувствовался в каждом стихе. С возрастающим волнением я разбирал строку за строкой и с трепетом ощущал, что на мою долю выпало некоторое открытие в науке. Никаких привычных нам европейских пособий в библиотеке не было: не имел я под руками во время своих скитаний и всем арабистам близкого «Брокельмана», но я был уверен, что если мой поэт и упомянут где-либо, то открытая рукопись его произведений является несомненным уникалом. Ясно, что я не мог бросить сделан-

ного открытия, и этот вопрос был решен в первый же день, как только я увидел рукопись. Хотя мне уже завтра предстояло ехать и билет на пароход был взят, но он сейчас же после этого посещения библиотеки был мной переменен на следующий рейс. Мне надо было переписать всю рукопись целиком. Два дня я провел в лихорадочной работе с каким-то экстазом к нескрываемому недоумению шейха, который в конце концов отдал мне ключ от помещения с просьбой возвращать его по вечерам, когда уйду, сторожу.

Я сел на пароход точно в затмении, весь в мыслях о доисламской Аравии, но зато с полной копией стихов Селямы ибн Джандала, которая точнейшим образом воспроизводила все детали александрийской рукописи. Когда мы ночью проходили мимо Яффы, я не мог спать; расхаживая по палубе, я думал не об аромате знаменитых апельсиновых садов, который за несколько километров по морю доносился в прошлый раз до парохода, а о том, как хорошо было бы написать диссертацию об этом поэте. В мечтах мне уже виднелось, с одной стороны, исследование реальной обстановки, где сложились песни Селямы ибн Джандала — исследование в стиле недавнего труда Якоба о древнеарабской бедуинской жизни, а с другой — анализ поэтического творчества в развитие мыслей Шварца об одном поэте раннего ислама в той его книге, которая только что, в 1909 году, увидела свет. Тема для магистерской диссертации у меня, правда, была и работа наполовину готова, но Селяма ее вытеснил: молодому арабисту было простительно желание поскорее заявить о своем открытии, закрепить приоритет и найти своему труду скромное место на полочке с историей науки. Подходя к Бейруту, я окончательно решил отложить первую тему и сосредоточиться на новой, тем более что она требовала, как мне казалось, и меньше времени.

Понятно, с каким волнением и немалой долей гордости утром еще до восьми часов я уже торопился к своему бейрутскому профессору — арабу Люису Шейхо в Университет святого Иосифа, массивное здание которого господствовало не только над кварталом, где я жил, но выделялось и во всем городе. Мой учитель, сам витавший в мире книг и рукописей, хорошо понимал чувства такого рода. Я знал, что он разделит и мою радость и мое волнение. Я был уверен, что найду его дома — либо в скромной келье за писанием и нескончаемыми корректурами редактируемого им журнала аль-Машрик, либо в уютной «Восточной библиотеке», в том же этаже, которая и для меня служила обычным местопребыванием; туда кроме нас двоих, обыкновенно только на минуту, заглядывал кто-нибудь из профессоров Восточного факультета.

Действительно, Шейхо сидел у себя за корректурами очередного номера. После первых фраз, обратив внимание, что перед ним лежат какие-то стихи, я спросил, что это за статья.

— «Да вот издаю диван Селямы ибн Джандаля». Совершенно потрясенный, я мог только еле-еле прошептать вопрос: «По александрийской рукописи?» Шейхо с недоумением взглянул на меня и, сказав — «нет, по стамбульской», в свою очередь спросил, что меня так взволновало. Несколько придя в себя, я рассказал, с чем к нему шел. Его изумлению тоже не было границ, он только взмахивал руками и восклицал: «Удивительное дело!» Мы бросились сличать рукописи; они оказались родными сестрами, из одной школы, с близкой датой. Не менее удивительно было и обстоятельство, послужившее толчком для работы Шейхо: за несколько месяцев до этого известный французский ориенталист К. Хюар напечатал в «Journal Asiatique» (Азиатский журнал) те же стихотворения Селямы по той же стамбульской рукописи. Он не был крупным арабистом и работа вышла не блестящей; тогда Шейхо, в давние годы сам снявший копию, решил дать более критическое издание. Об александрийской рукописи он, конечно, не подозревал. Я мог только передать в его распоряжение свой список, который пригодился для ряда деталей. Так задуманная диссертация навсегда осталась ненаписанной, а приоритет сразу утратил всякое основание. Издание Шейхо вызвало несколько мелких статей и заметок, но большой работы о Селяме в том духе, как я мечтал на пароходе, не появилось и до сих пор.

И вот теперь, когда заходит речь о роли случайности в науке, я всегда вспоминаю, как одновременно французский, арабский и русский ученые занялись в разных странах одним и тем же арабским поэтом по одним и тем же рукописям. А когда я встречаю стихи Селямы или его имя, у меня сразу встает перед глазами и тихая зала в шумной Александрии, и молодой шейх с французской бородкой, и каллиграфически переписанная рукопись с крупными буквами зеленоватого тона с золотым отливом, а в ушах неумолчно звучит:

«Погибла юность достославно, владычица чудес; о если бы ее догнал бег летящих взапуски коней!»

И только иногда где-то в глубине шевелится мысль: а может быть все-таки жалко, что я не написал диссертации о Селяме ибн Джандале?

#### **4. Рукописи двух патриархов или бывшееся предсказание**

(1900—1927)

Мое детство с самых ранних лет связано с очень оригинальной библиотекой, где проходили все мои каникулы. В маленьком имени, среди всяких хозяйственных построек неподалеку от жилого дома, рядом с конюшней и сеновалом стоял погреб-ледник. Массивные каменные стены квадратного здания были выведены во всю высоту первого этажа, который и служил своему непосредственному назначению. На второй этаж, уже дере-

вянный, вела наружная лестница; там находилась одна большая жилого вида комната, в которой, однако, ничего кроме книжных шкафов и полок не было; дополнением к ним служили круглый и рабочий стол со стульями и узенький диван. Вся мебель была старинная, светло-сеневого дерева с такой же старинной обивкой. Стеклопанельная дверь и два окна открывали вид на сад при жилом доме с двумя громадными «екатерининскими» липами, которые высились над всей округой на несколько верст. В другую сторону широкий горизонт охватывал луга, речку и пруд с мельницей; вдаль чернели леса. Здесь я дневал, а иногда и фактически ночевал, устраивая свою несложную постель на диванчике.

В давние гимназические годы, поглощая без передышки стоявшие здесь полные комплекты «Русского архива», «Русской старины» и других подобных журналов, я случайно наткнулся в только что вышедшей книжке «Чтений Общества истории и древностей российских» на поразивший меня старинный портрет. Подпись гласила, что это Макарий, патриарх антиохийский; из текста я тогда впервые узнал, что он дважды приезжал в Россию при Алексее Михайловиче, но многое из прочитанного мне осталось неясным и прежде всего, как патриархом мог быть араб. «Ведь арабы — мусульмане», думал я наивно, но здесь же мне вспоминался «Иоанн Дамаскин» А. Толстого и недоумение усиливалось, не говоря о том, что я не понимал, почему антиохийский патриарх выезжал из Дамаска. Только через много лет я узнал, что арабы-христиане играли важную роль в халифате, а история их представляет любопытнейшую страницу арабской культуры. Тогда все это было для меня смутно, как и непонятная арабская подпись под портретом, воспроизведенная рядом с греческой. Самый портрет, на котором была изображена немного сторбленная фигура с резкими, даже суровыми чертами лица, навсегда запечатлелся в юношеской памяти, сохранившей его до того времени, когда лет через десять, я увидел преемника этого антиохийского патриарха в Дамаске и беседовал с ним о рукописях патриарха Макария.

Судьба самой библиотеки-ледника оказалась печальной. Она продолжала служить моим летним местопребыванием в годы студенчества до поездки на Восток, но потом все реже и реже удавалось ее посещать. Последний раз я побывал в ней в июле 1915 года и покинул ее с тяжелым чувством, под глухо доносившийся гул артиллерийской канонады. Тогда я все же не предвидел, что через несколько месяцев и здание и книги будут уничтожены немецкими войсками. Портрет патриарха из того экземпляра уцелел только в моей памяти.

Когда гимназист превратился в студента, черты этого портрета стали как бы оживать. Я узнал, что путешествие было описано сыном патриарха Павлом алеппским, что оно является очень важным источником для внутренней истории Московской

Руси, что дамаскинец — московский профессор Муркос перевел его на русский язык. Еще позже, когда в душу мне проникла неизлечимая отравка страсти к рукописям, я узнал, что перевод его сделан по новым спискам середины XIX века, а оригинал их 1700 года погиб, как предполагалось, во время резни дамаских христиан в 1860 году. Скитаясь по Сирии, я часто вспоминал об этом и среди многих мечтаний у меня иногда всплывала мысль: «А хорошо было бы русскому ученому найти старую рукопись путешествия Макария в Россию!» Два года в этом смысле прошли бесплодно. Я успел за это время специально навестить доживавшего свой век на покое в Сайднае около Дамаска русско-го переводчика, но он ничего нового не смог мне добавить. Все-таки я не хотел вернуться на родину, не сделав еще раз попытки проникнуть в библиотеку антиохийского патриарха Григория аль-Хаддада; про нее ходили самые фантастические слухи и многие называли всякие диковинки, которые якобы там имелись, но всегда с какой-то усмешкой добавляли, что Хаддад хитер и перехитрит всякого, лишь бы не показать своих сокровищ. Плохо этому верилось: привыкнув за два года к большому радушию и мусульман, и «франджей», с полной охотой демонстрировавших свои собрания приехавшему из-за тридевяти земель «мусташрику» — ориенталисту, я с трудом допускал, что преемник Макария укроет их перед русским, который с детства чтит это имя.

Моя первая поездка в Дамаск все же оказалась неудачной; патриарх находился где-то в отъезде. Злые языки передавали мне потом, что он вернулся в тот самый день, как я уехал, но и это я относил за счет обычных пустых разговоров. Вторично, уже готовясь к возвращению в Россию, я все-таки не утерпел, чтобы не побывать еще раз в бывшей столице омейядских халифов, главным образом, с той же целью. Теперь я решил действовать официально, чего обыкновенно избегал, и обратился за содействием к русскому консулу; им был тогда довольно известный собиратель халдских древностей, товарищ по университету одного из моих университетских профессоров. Хотя он хорошо понимал мои чувства, но и в прошлый раз предупреждал почти в тех же выражениях, как все обитатели Сирии, что «Хаддад — хитер».

С тем большей радостью я узнал по приезде, что аудиенция у патриарха назначена мне на следующий же день. Происходила она, к сожалению, в торжественной обстановке с большим числом приглашенных и сводилась скорее к демонстрации меня, чем к разговору о рукописях. Я старался быть настойчивым и, говоря о главной цели своего приезда, добился частного приема через два дня. Мои опасения начали рассеиваться, когда в назначенное время я увидел патриарха в домашней обстановке в присутствии только начальника школ и секретаря. Он мало напоминал своего предшественника XVII века; невысокого роста,

полный, круглолицый, он представлял хорошо мне знакомый тип современного восточного «князя церкви». Неприятно действовала беспокойно-льстивая любезность и даже обычные арабские фразы «наш дом — ваш дом», «все мы под вашим повелением» звучали как-то особенно фальшиво. От разговора о рукописях на этот раз он все же уклониться не мог и, беседа у них, обнаруживал несомненное знакомство с литературой, главным образом арабов-христиан, что в тот момент было для меня особенно важно. На вопросы, которые я ставил по временам в упор, он отвечал все-таки уклончиво, иногда с какой-то очень мне не нравившейся скрытой усмешкой: «Кажется, у меня это есть», «Слышал я, что имеется как будто бы в Алеппо», «Кто-то мне показывал», говорил он. Когда я, не утерпев, сказал, какие слухи ходят у нас о рукописи путешествия Макария 1700 года, опять на его устах промелькнула сдержанная улыбка, и он полузагадочно заметил: «Ну что ж, не все рукописи тогда сгорели». Так и в этот день ничего мне не было показано; во внутреннем помещении шел якобы ремонт и книги были сложены в ящиках. Я прибег тогда к фантастическому доводу: через несколько недель мне надо возвращаться в Россию и там будут очень недовольны, когда узнают, что я видел собрания и аль-Азхара в Каире, и Университета святого Иосифа в Бейруте, и маронитского митрополита в Алеппо, но мне не показали в Дамаске знаменитой библиотеки антиохийского патриарха, большого друга России. Я полагал, что на этот раз перехитрил прославленного хитреца. Он на минуту точно задумался и все с той же раздражавшей меня сдержанной улыбкой сказал: «Все мы всегда под вашим приказом — я скажу, чтобы завтра ящики открыли и в четверг вам покажут все, чем наградил Аллах дом этого бедняка». Я почувствовал себя на вершине блаженства.

Два дня прошли быстро и в назначенное время я опять явился в патриархию. Подозрительным показалось мне отсутствие у ворот бессменного стража — каваса и какая-то тишина во дворе, обычно наполненном посетителями. В приемной меня встретил тот же начальник школ и с неизменной любезной улыбкой сообщил: «Его Блаженство вчера уехал на север патриархии и боялся, что без него вам не сумеют по-настоящему показать рукописи, так что не велел их раскрывать». — «Но ведь позавчера то он знал, что ему придется уехать?» не очень вежливо спросил я. — «Владыка очень извинялся и поручил мне узнать, нет ли у вас каких-либо пожеланий», прежним льстивым тоном осведомлялся, точно не расслышав меня, монах. В полном раздражении, не помня себя, я отчеканил: «Передайте владыке, что напрасно он так прячет свои рукописи, они все равно попадут в мои руки».

На следующий день я уехал из Дамаска и вскоре вернулся в Россию, совершенно позабыв про неожиданно вырвавшуюся у меня фразу, непонятную и для меня самого. Однако народное

поверие говорит, что проклятия и пожелания, вспыхивающие огнем как бы произвольно в моменты возбуждения, часто оправдываются. Я, конечно, никогда не думал, что окажусь пророком, а тем менее, что сам патриарх будет ближайшим виновником осуществления того, за чем я приезжал в Дамаск.

В 1913 году праздновался юбилей дома Романовых; на торжества был приглашен и антиохийский патриарх Григорий аль-Хаддад. Мне неоднократно передавали после его приезда в Петербург, что он хотел бы меня видеть и будет рад, если я его посетю. Помня живо свои дамасские настроения, я предпочитал его забыть и не ответил на приглашение. По газетам было известно, что он привез семье Романовых какие-то дары с Востока, иногда поминались и книги, но я не придавал этому серьезного значения. После его отъезда слухи стали настойчивее; начали упоминать про восточные рукописи и мною опять овладело старое беспокойство. Путем различных справок действительно удалось установить, что после юбилея и отъезда патриарха какие-то восточные рукописи были переданы в «собственную его величества библиотеку» в Зимнем Дворце. Не легко было мне — молодому приват-доценту проникнуть туда; все же настойчивость Академии Наук, поддержавшей мои стремления, помогла преодолеть все препоны, чинимые министерством двора, полицией и дворцовой охраной. Я получил разрешение являться в определенные часы, конечно, в отсутствие царской семьи из Петербурга. Сложными подвальными переходами, в сопровождении особой охраны доставляли меня в помещение библиотеки, где я поступал уже под наблюдение библиотечного штата. Во главе библиотеки стоял тогда сановник-камергер, бывавший не каждый день; его помощником являлся какой-то полковник; обоим цель моих занятий казалась недостаточно ясной. Может быть поэтому за стол напротив меня садился чиновник с французским романом, внимательно следивший за тем, что я делаю. Условия работы были мало удобны: выдавалось не более одной рукописи и вторично ту, которая уже просматривалась раньше, нельзя было получить. Листы были, конечно, не перенумерованы, что крайне усложняло ссылки; почему-то не разрешалось даже измерять формат рукописи. Никаких пособий в библиотеке не было и приносить с собой ничего не позволялось. Все сделанные заметки тщательно просматривались и не всегда сразу выдавались, как я потом случайно узнал, чтобы иметь срок для проверки экспертом, не кроется ли в моих арабских записях какого-нибудь шифра. Все эти стеснения мною были, однако, забыты почти с того момента, как в руки попала первая рукопись и я стал лихорадочно торопиться с просмотром, чтобы поскорее узнать, какую неожиданность таит следующая.

Патриарх поднес больше четырех десятков манускриптов — целую коллекцию, составленную с несомненным знанием дела из выдающихся экземпляров, в большинстве случаев уникалов. Они

великолепно характеризовали разнообразные стороны литературы арабов-христан. Около половины их занимали сочинения Макария антиохийского или его сына Павла алеппского, обыкновенно в автографах последнего; он был выдающимся каллиграфом. Колофон на одном из манускриптов говорил, что переписка заполняла невольные досуги в Коломне во время чумы, когда Алексей Михайлович ходил войной на «ляхов». У меня буквально задрожали руки, когда в другой только что выданной рукописи я увидел список путешествия Макария 1700 года, который считался сгоревшим; он нисколько не пострадал и лежал теперь передо мной в полной сохранности со своим аккуратным, типичным для XVII века, почерком. Не успевал я опомниться от одной неожиданности, как следующая рукопись уже приносила другую. Мне делалось ясно, что с этой коллекцией наша страна получает собрание христианско-арабских памятников, не уступающее по качеству старым и новым фондам Парижа, Ватикана, Бейрута. Передо мною вырисовывался план большого Catalogue raisonné — научного каталога с привлечением параллелей из других собраний, с большими показательными выписками, с приложением полного списка работ Макария и Павла. Все это было, конечно, еще впереди, а пока работа в Зимнем дворце двигалась медленно: она часто прерывалась приездами царской семьи или невозможностью являться в те часы, которые для меня назначались каждый раз по-иному. Все же я постепенно просматривал и другие петербургские собрания в поисках параллелей, так что к лету 1914 года предварительный список дворцовой коллекции был в общем закончен; каждую минуту я чувствовал, что ей в Зимнем дворце совсем не подходящее место.

Во время поездки за границу этим же летом, я старательно обследовал отдельные сочинения Макария и в блестяще оборудованной лейпцигской университетской библиотеке, и в скромном помещении Deutsche Morgenländische Gesellschaft (Немецкого Востоковедного общества) в Халле, где часто бывал единственным посетителем и должен был уходя класть ключ на условленное место, и в уютной тихой комнате университетского Legati Varneriani (Варнеровского фонда) в Лейдене. Эта библиотека была последним моим этапом в тот год. В Лейдене меня захватила война, там на долгие годы остались все мои материалы.

Однако раздраженное восклицание в Дамаске к моему большому изумлению оправдалось еще точнее. После Октябрьской революции, когда накопленные веками сокровища стали получать надлежащее место, я вспомнил о коллекции патриарха в бывшей «собственной его величества библиотеке», где о существовании такого собрания мало кто мог подозревать.хлопоты Академии Наук о передаче ее в Азиатский музей быстро увенчались успехом и в морозный зимний день 1919 года я самолично с одним учеником и помощником на саночках по опустелым улицам безлюдного Петрограда перевез все сорок рукописей, бережно за-

журав их в тулупы, в старое помещение Азиатского музея у академического здания с колоннами. В то время я был хранителем ближневосточного отдела, и все манускрипты теперь прошли вновь уже буквально через мои руки. Я мог работать над ними досыта и не спеша, совершенно в других условиях, чем в Зимнем дворце, изредка с невольной улыбкой вспоминая свой последний визит в антиохийскую патриархию в Дамаске, откуда рукописи приехали к нам.

Радость моя омрачалась только тем, что первоначальный список со всеми извлечениями остался в Голландии и вернулся очень не скоро, когда другие работы не позволили мне продолжить намеченный *Catalogue raisonné*, и я опубликовал только краткую опись. Не знаю, как отнесся бы умерший в начале 30-х годов патриарх к той популярности, которую приобрели в науке многие его рукописи. Трехтомная арабская Библия, наличие которой у нас завидует Ватикан, вызвала обширную специальную литературу с большой полемикой, где сравнивается значение нашего римского экземпляра. Исключительный по своей редкости сборник трактатов арабских врачей об окулистике произвел немалую сенсацию среди специалистов по истории науки. Второй экземпляр нашелся в библиотеке моего друга Теймура паши и позволил опубликовать значительную часть ее в критическом издании каирского университета. Описание Грузии в автографе патриарха Макария тщательно исследовано грузинским арабистом. Много других сокровищ еще хранит собрание, но, к счастью для науки, жизнь уже показала, что они достойно оценены.

Так второму патриарху не удалось наподобие скупого рыцаря утаить от чужих, по его мысли, глаз свои богатства. Эти глаза с радостным волнением их открыли и помогли ученым осветить новые страницы истории человеческой культуры.

Портрет Макария и теперь иногда попадаетеся мне. Он смотрит попрежнему сурово-испытующе, как смотрел когда-то на юного гимназиста в странной библиотеке, и мне невольно хочется ему сказать, точно в свое оправдание: «Ведь я старался сделать все, что мог, для твоих работ!» И опять с никогда не остывающей тоской встает передо мной воспоминание о первой библиотеке, которая дружила меня в детстве.



### III. В АЗИАТСКОМ МУЗЕЕ

#### 1. Введение к легенде

(Памяти Ф. А. Розенберга)

(1903—1934)

Как-то зимой 1903 года на лекции по истории Абиссинии Борис Александрович Тураев, устремив взор по обычаю куда-то поверх голов двух своих неизменных слушателей, сказал, обращаясь ко мне: «Вам надо посмотреть это издание Перроушена: у меня его нет, но в Азиатском музее оно имеется, вы спросите у Лемма». Трудно было мне, студенту младшего курса, из провинции, преодолеть свою застенчивость и направиться в новую библиотеку, тем более, что, по слухам, для занятий там студентам требовалось разрешение директора.

Азиатский музей, в котором давно уже музейного было мало, а хранились только книги и восточные рукописи, находился тогда в старом помещении у главного здания Академии Наук в Таможенном переулке, напротив Музея антропологии и этнографии. Для многих оно было новым, так как музей только года за два до этого переехал сюда из прежнего помещения в другом крыле того же академического здания. Служитель, в обычной тогда академической форме, повесил мое пальто и, поднявшись на несколько ступенек, открыл дверь в комнату направо от входа. В полутьме я плохо разглядел ее сразу. Почти всю ее занимал громадный квадратный стол слева от дверей, за которым никого теперь не было. У противоположной входу стороны стоял низкий, но очень широкий шкаф с бесчисленными отделениями алфавитного карточного каталога, а за ним, как бы на кафедре, возвышалась громадная конторка; там даже днем всегда было темно и во время занятий постоянно горела настольная электрическая лампа.

Я не успел осмотреться, как из-за конторки послышался мало приветливый голос: «Вам что угодно?» Только теперь я заметил, что там сидит высокий, элегантно одетый, еще не старый человек с поражающей на первый взгляд деформацией носа. Приняв его за Лемма, о котором говорил Тураев, я изложил, что хочу получить разрешение директора на занятия в музее. «А кто

вас рекомендует?», тем же тоном спросил сидевший. Я не ожидал этого вопроса, но ответил, что профессор Тураев, у которого я занимаюсь, указал мне одну книгу. «А она у нас имеется?», снова задал вопрос суровый человек. Я сослался опять на Тураева. Тогда сидевший спустился с возвышения и, подойдя к каталогу, стал перебирать карточки. Поиски были, повидимому, неудачны, так как искавший что-то недовольно бормотал. В это время откуда-то из недр комнаты, где за конторкой начиналась анфилада смутно темневших стеллажей с книгами, послышался ворчливый голос, спрашивавший по-немецки: «Что ему нужно?» Мой собеседник назвал книгу, сейчас же раздались торопливые прихрамывающие шаги и показался невысокий худенький седой старичок, распространявший сильный запах сигары. С недовольным видом он резко прокричал мне: «Так ведь это из серии, надо серию называть!» и, найдя какую-то карточку в каталоге, сердито показал на нее второму. Это и был учитель Тураева, египтолог и едва ли не первый в Европе коптовед О. Э. Лемм, состоявший тогда единственным хранителем Азиатского музея. Второй — крупный иранист Ф. А. Розенберг, числился только сверхштатным прикомандированным к музею. Издание Перрюшона через минуту было у меня в руках и я сел за стол заниматься. На мой вопрос о разрешении директора Розенберг махнул только рукой, добавив: «Мы сами ему скажем». Никаких документов не потребовалось и все формальности на этом были кончены; кажется моя фамилия долго оставалась даже неизвестной в музее. Не помню, заходил ли в тот день в музей директор — академик К. Г. Залеман, подвижной, энергично ходивший и говоривший, пожилой ревельский немец, несколько суховатый на вид, всегда в форменном вицмундире. В это время он был директором не только музея, но и второго — иностранного отделения библиотеки Академии Наук. Впоследствии по его идее было выстроено громадное новое здание библиотеки, окончания которого ему не суждено было увидеть. Хорошо помню, что зачем-то появился, как всегда спешно, молодой, живой, ставший в следующем году непререкаемым секретарем Академии С. Ф. Ольденбург. Почти пробежав мимо стола и обратив почему-то внимание на единственного читателя, он, зайдя за конторку к началу стеллажей, где, как я присмотрелся, сидел за особым столом у печки Лемм, спросил его в полголоса по-немецки: «Кто это такой?» — «Etwas äthiopisches! (что-то эфиопское)», ответил Лемм, как мне показалось, презрительно махнув рукой.

Так началось мое знакомство с Азиатским музеем и двумя его представителями в то время, началось с Абиссинии, а не с арабистики, с книг, а не с рукописей. И много лет позднее музей продолжал еще оставаться мне менее близким, чем университет или Публичная библиотека; я не предчувствовал тогда, что со временем музей едва их совсем не оттеснит, а эти люди и всё учреждение станут мне особенно близки.

В студенческие годы я редко и случайно бывал в Азиатском музее: университетская библиотека тогда вполне удовлетворяла мои запросы по книжной части, а рукописи были еще чем-то мне чуждым и про значение их мы и не слышали. Знакомство мое с музеем все же росло, главным образом, благодаря рассказам старшего коллеги — санскритиста и ираниста А. А. Фреймана, который там работал. После раннего обеда в студенческой «Коллегии императора Александра II», где мы тогда жили, он часто уходил в музей «писать карточки», что для меня представлялось достаточно таинственным. Знал я, что там же работает и другой старший «коллегиант» китаист В. М. Алексеев. Во время своих редких посещений музея обратил я внимание еще на оригинальную фигуру, появлявшуюся вечно с боязливым видом все оттуда же из-за таинственных нескончаемых стеллажей, всегда не по прямой линии, а описывая какую-то параболу: это был ученый еврей, большой знаток и русской книги XVIII века, С. Е. Винер, также «сверхштатно прикомандированный» для описания «Bibliotheca Friedlandiana», знаменитой коллекции еврейских рукописей и книг. «Штат» долгое время оставался все прежним и, когда по окончании университета я стал с 1906 года чаще бывать в музее, единственным хранителем все еще состоял О. Э. Лемм, все же прочие работали «сверхштатно».

В это время я по двум линиям уже был связан с Азиатским музеем. Думая о магистерской диссертации, я остановился на издании и исследовании произведений арабского поэта X века аль-Вава дамасского. Две рукописи находились как раз в Азиатском музее и я усердно принялся дешифрировать, списывать и сличать. Рукописи попались неважные, поздние, мало разборчивые, а одна даже полуграмотная; много огорчений причинили они мне — новичку, шедшему ошупью, часто они приводили меня в отчаяние и заставляли разочаровываться в своих силах.

Изредка в музей заходил всегда оживленный В. Р. Розен. Заставая меня вечно над одними и теми же рукописями, он обыкновенно весело осведомлялся, как поживает мой «Вавочка». Я не решался обращаться к нему со своими мелкими огорчениями, надеясь сделать это, когда вся работа будет близка к концу. К несчастью, я не подозревал, что тогда будет уже поздно.

Вторую работу, над которой я также сидел в Азиатском музее, я долго утаивал от него, побаиваясь внушения за то, что слишком разбрасываюсь. Она возникла под влиянием интересов Лемма: занимаясь неустанно своими «коптскими штудиями», он часто привлекал арабские параллели и, присмотревшись постепенно ко мне, проникся уважением к моим арабским познаниям, вероятно потому, что христианско-арабские сюжеты были тогда мне близки. Не оставляя обычного для него обиженно-ворчливого тона, он часто обращался ко мне по разным вопросам. Для меня такие беседы с первоклассным знатоком были не менее полезны, чем регулярные занятия. Собирая всю жизнь материалы

для большого исследования о легенде про архангела Михаила, О. Э. Лемм выписал однажды в Азиатский музей толстую рукопись с коптскими песнопениями из Готы. В ней оказалась уникальная арабская версия легенды и я, вслед за Леммом, увлекшись сюжетом, решил списать ее всю целиком. В противоположность моему аль-Вава, рукопись была очень разборчива и, в сущности, требовала только механического труда переписки. Времени для трехсот с лишним страниц понадобилось, конечно, не мало, но покаяться в своей затее Розену я решился только тогда, когда все дело было закончено. Сверх ожидания он не рассердился, а очень весело сказал: «Ну, вот и отлично! Магистерскую диссертацию вы сделаете из Вава, а докторскую из Михаила». Этого не случилось, и копия, до сих пор сохранившаяся у меня, доставила мне материал только для нескольких мелких статей, но школа углубленной самостоятельной работы над рукописями, в атмосфере которой я попал в Азиатском музее, оказалась для меня очень полезной. Мое влечение скоро было замечено, и в 1907 году мне устроили даже неожиданный сюрприз. Штудируя в связи со своей диссертацией поэта аль-Мутанабби, я как-то раз пожалел, что у нас нет полной рукописи комментария на его стихи известного поэта-философа Абу-ль-Аля. Розенберг и Лемм, как всегда, ворчливым тоном осведомились, где находится рукопись. Я ответил, что в Мюнхене, но, конечно, не придал вопросу значения. Не прошло между тем и двух недель, как, придя однажды для обычных занятий над аль-Вава, на своем постоянном месте за тем же квадратным столом, я нашел эту самую мюнхенскую рукопись. Рассматривая ее в полном недоумении, я увидел, как Лемм и Розенберг из-за конторки с любопытством следили за впечатлением, произведенным на меня неожиданной находкой. Оказывается, они по секрету от меня выписали рукопись из Мюнхена в Азиатский музей, где она и оставалась, сколько мне надо было для работы.

В 1908 году, через полгода после магистерского экзамена, я уехал на Восток, где окунулся в другую жизнь и другие рукописи, заслонившие Азиатский музей. По возвращении оттуда в 1910 году я еще долго оставался вдали от музея. Как хранитель только что основанного Семинария восточных языков имени В. Р. Розена, я уделял преимущественное внимание ему. Организация новой библиотеки и непривычка еще к лекциям в университете поглощали все мое дневное время, не позволяя часто бывать в Азиатском музее. Присоединились и другие обстоятельства. Специалиста по арабистике в Музее не было, но директор его академик К. Г. Залеман, как иногда свойственно старым ученым, хотел все делать сам и думал, что будет находить время для этого. Поэтому и вновь поступающие ближневосточные рукописи он описывал сам и только в затруднительных случаях по поводу отдельных экземпляров обращался ко мне. Так, с большой радостью я мог любоваться великолепным экземпляром

XII века «хронологии» знаменитого хорезмийца аль-Бируни, приобретенным около этого времени в Персии; мечтая «объять необъятное», я даже списал те части, которые восполняли лакуны известного издания Захау, предполагая со временем их опубликовать. Дело оказалось сложнее, чем я думал, и копия до сих пор лежит у меня, все ожидая своей очереди. Большим торжеством для меня было открытие в новых поступлениях одного тома истории Ибн Мискавейха, каллиграфически переписанного в Средней Азии не позже XII века, того самого экземпляра, который когда-то читал там же, вероятно в Мерве, знаменитый географ Якут. Последнее выяснилось со временем, только тогда, когда в Казани нашелся еще один том этого же экземпляра уже с припиской — автографом Якута. А потом в Средней Азии обнаружили и все остальные три тома, опять подтверждая старую истину «habent sua fata libelli» (имеют свою судьбу книги). С неменьшей радостью в одной дефектной рукописи новой бухарской коллекции я открыл «диван» — собрание стихотворений «последнего бедуина» Зу-р-Руммы, крупного поэта омейядской поры VIII века.

В конце 1916 года Залеман умер; между тем систематически поступающие в связи с войной, спасенные на Кавказском фронте, в большинстве арабские рукописи все настойчивее говорили о необходимости арабиста в Азиатском музее. Новый директор С. Ф. Ольденбург пригласил меня в декабре 1916 года в первую очередь для работы над ними. Это было для меня великим торжеством. Служба в Азиатском музее открывала мне полный доступ к материалам, в частности рукописям, в которые я мог теперь погрузиться беспрепятственно, насколько хватало моих сил и времени, буквально в любые часы дня и ночи. Так работали и другие. Служебное время не было строго регламентировано, кроме нескольких дневных часов у хранителей; личная работа ученого переплеталась с музейной и не знала никаких ограничений и норм. Мы, младшие, подтрунивали над Леммом, что он берет библиотечные карточки писать на дом. Многие в музее работали во вторую половину дня и очень часто засиживались до поздней ночи, как обыкновенно случалось и с самим Розенбергом.

В 1916 году обстановка музея уже значительно переменилась сравнительно с тем временем, когда единственным официальным хранителем был О. Э. Лемм. Теперь их числилось трое: Лемм, получивший звание старшего хранителя, Розенберг — младшего, младшим же хранителем был зачислен и В. М. Алексеев. Сверх штата кроме С. Е. Винера работал иранист В. А. Иванов, большой чудак, основательный знаток суфизма и фанатичный любитель рукописей; он был очень удачный «охотник» за ними и дважды посылался Академией Наук для сбора их в Среднюю Азию. Музей обогатился очень большой, им составленной так называемой «бухарской» коллекцией. Резкий человек и парадоксалист

он постоянно изводил, особенно, за полуденным чаем, тихого, тоже работавшего в музее армянина А. А. Калантаряна, который придумывал язвительные ответы обыкновенно только тогда, когда все уже расходилось. Незадолго до меня в музей был приглашен талантливый монголист Б. Я. Владимирцов. Количество сотрудников продолжало расти и после моего поступления. Лемма заменил коптовед и эллинист П. В. Ернштедт, появился молодой кавказовед А. Н. Генко.

В 1918 году в Азиатском музее произошло большое событие: по инициативе С. Ф. Ольденбурга сотрудником была зачислена первая женщина — ученица Б. А. Тураева египтолог Н. М. Дьяконова (впоследствии Алексеева). За нашим и примыкавшим к нам поколением постепенно стали появляться и наши ученики.

Колорит музею придавали и два служителя: Дмитрий Брядов и Еремей Зюзин, которые провели здесь большую часть «залемановского» и весь «ольденбургский» периоды. Оба выходцы из крестьян, они по природе обладали немалыми талантами, которые сумели развить, попав в культурное учреждение. Не говоря про то, что оба они хорошо справлялись с разнообразными шифрами и латинским шрифтом, и тот и другой были в своем роде Tausendkünstler'ами (мастерами на все руки) — Брядов самоучкой великолепно чинил часы, Зюзин — сапоги. Это все еще, так сказать, «бытовые таланты», но более интересно то, что Брядов стал заправским фотографом и артистически снимал восточные рукописи. Академия командировала его с этой целью на Афон, а когда музею приходилось по просьбе заграничных ученых посылать фотокопии с рукописей, очень часто приходили специальные благодарности за особо искусное выполнение. Иностранцы, конечно, не подозревали, кто над этим работал. Когда штат музея расширился до трех служителей, третий обыкновенно менялся, но Брядов и Зюзин сохранялись неизменно и оставались на своих постах до смерти. Без них трудно было бы представить музей или какое-нибудь событие в его жизни. Оба впоследствии перешли с ним в новое здание, но Брядов стал там хворать, с трудом поднимался на лестницу и не мог уже чинить часов. Он умер в 30-х годах вскоре после Розенберга, Зюзин, повысившийся до чина научно-технического сотрудника, хирел, однако окончательно его подкосил только тяжелый 1942 год. С ним ушел последний представитель старого Азиатского музея, хорошо помнивший разные периоды в его жизни.

Директорство Ольденбурга, главным образом 1917—1925 годы, было порой особого расцвета музея, когда он незаметно стал центром в сущности всего научного востоковедения в Ленинграде. В известной мере к нему перешла объединяющая роль распавшегося факультета восточных языков и своеобразной высшей школы научной практики «Восточного отделения Археологического общества», которое на ряд лет заменила «Коллегия востоковедов при Азиатском музее». Душой всего этого оживле-

ния был, конечно, С. Ф. Ольденбург, но он, в связи с исключительно широкой организационно-научной работой по Академии и вне ее, не всегда мог уделять достаточное время Азиатскому музею; вся будничная работа и повседневная организация оказалась в руках Ф. А. Розенберга, который неожиданно обнаружил большой дар объединителя младшего поколения. Лемма быстро дряхлел и в 1918 году скончался. Розенберг, ставший старшим хранителем, попрежнему соблюдая свой ворчливый тон, незаметно сумел приблизить к себе всех сотрудников, подчинив их выдающимся первоклассным научным авторитетом крупного и тонкого знатока мировой литературы и искусства, а, в особенности, ореолом исключительно высокой и благородной культуры.

В такой обстановке работалось легко, несмотря на все тяготы, выпавшие Ленинграду в те годы. Для меня период 1916—1921 годов был временем погружения не только в отдельные рукописи, но уже целые коллекции и фонды. Иногда они подавляли меня своим количеством, однако постоянное соприкосновение с живым, все время обновляющимся материалом поддерживало особо повышенный темп научной работы и ощущений.

Мне прежде всего пришлось привести в порядок более чем тысячу рукописей так называемой Кавказской коллекции, поступивших с Кавказского фронта. Они каждую неделю доставлялись посылками в музей; непрекращающийся поток иногда пугал меня, грозя затопить. Рукописи в большинстве случаев были второго, чаще даже третьего «сорта». Просмотр громадного количества их приучил меня быстро ориентироваться в новом материале и расширил кругозор на все области письменности. Впервые для меня делалась наглядной картина литературной образованности в одной из провинций мусульманского мира, связанных с арабской культурой; перед моими глазами проходили и учебники, и схоластические ученые произведения, одним словом, весь «круг чтения», которым до XX века в течение нескольких столетий питались целые поколения.

Едва я успел справиться с этой лавиной, как меня поглотила другая, еще более значительная работа: разбор рукописного наследия В. Р. Розена, в это время поступившего от его старшего ученика, известного ираниста В. А. Жуковского, умершего в 1918 году. Мне думалось, что Розена в последнюю пору его жизни я знал довольно близко, но только теперь при разборе рукописей, а затем и обширной корреспонденции, я мог оценить в полной мере эту крупную фигуру мирового ученого, общение с которым считали для себя честью специалисты всех стран, организатора русского востоковедения, из школы которого вышли такие светила нашей науки как Ольденбург, Марр, Бартольд и много других. Неопубликованные работы Розена, его неоконченные статьи, наброски, автобиографические документы и корреспонденция, доставившие мне материалы для публикаций на всю жизнь, далеко еще не исчерпаны.

В эти же годы в музей поступили рукописи патриарха Григория из Зимнего Дворца и большая коллекция бывшего Учебного отделения Министерства иностранных дел, все время росла «бухарская коллекция» Иванова и каждая арабская рукопись должна была пройти через мои руки. Легко понять, в каком море я оказался, с каким напряжением и подъемом все время шла работа, поддерживаемая новым материалом на неизменно высоком уровне. Радость крупных открытий перемежалась с удовлетворением от роста наших фондов и все более тесного вхождения их в науку. Новые коллекции отчетливее обрисовывали значение старых; все мы почувствовали это особо ярко, когда, в связи со столетием музея в 1918 году, по инициативе С. Ф. Ольденбурга составляли краткую историю отделов по специальности каждого. Знакомство с материалами основателя и первого хранителя музея Френа на недостижимую высоту поднимало фигуру этого первоклассного ученого и беззаветного труженика на пользу музея. Сознание того, что продолжаешь работу, завещанную великими предшественниками, помогало преодолевать трудности тех лет и неустанно творить свое скромное незаметное дело. Годы 1916—1921 были для меня периодом, когда я как бы погрузился всецело в рукописи Азиатского музея.

В конце 1921 года я был избран академиком и по обычному порядку того времени должен был оставить место сотрудника в музее. По существу это, конечно, не помешало бы мне продолжать работу, но в следующем году я был избран еще на впервые установленную должность секретаря Отделения исторических наук и филологии. Новые организационно-административные обязанности, связанные с необходимостью заменять непременно секретаря С. Ф. Ольденбурга во время его частых поездок, почти на семь лет оторвали меня от музея и сильно сократили возможность личной научной работы.

Между тем старый Азиатский музей приходил к концу. В связи с двухсотлетним юбилеем Академии в 1925 году, музей перешел в новое здание наверху библиотеки Академии Наук, а затем превратился в Институт востоковедения, объединив другие востоковедные учреждения Академии. Начался новый период. Все работники это сознавали, однако многим было трудно расставаться со старым, неудобным, но уютным и как-то обжитым помещением музея в Таможенном переулке, где он занимал первый этаж, а здесь надо было подниматься, по существу, на восьмой. Не для всех это было даже физически легко и прежде всего почувствовал это Ф. А. Розенберг. Хворавший последние годы, иногда с трудом двигавшийся, после переезда он окончательно начал как-то потухать. Врачи долго не могли определить старческого туберкулеза и последний хранитель на глазах у всех нас сходил на-нет. Как верная нянька почти каждый день навещал его в одинокой квартире Е. Д. Зюзин, быть может слишком балуя выполнением некоторых, едва ли полезных для больного

желаний. Умирал он все же героически на посту ученого: в те немногие ночные часы, когда на время оставляла сорокаградусная температура и исчезали видения отшедших друзей, он готовил к юбилею Фирдоуси перевод и комментарий избранных отрывков из «Шахнаме», лучшим знатоком которой он был. Небольшая, изящно изданная книжка и оказалась его последним, увы, уже посмертным произведением.

О старом Азиатском музее горевал не он один. Мы, конечно, хорошо сознавали, что для Академии неизбежен переход от кустарных иногда форм индивидуальной работы маленьких учреждений к большим комплексным институтам с крупными коллективами сотрудников. Но все же нам было грустно, что работа над рукописями и фондами, которая была основным нервом и наполняла всю жизнь Азиатского музея, отходила как-то на задний план и значение ее не всем уже было понятно. Тесный кружок ученых, живших в библиотеке и для библиотеки, растворялся в большом научно-исследовательском институте с десятками, а потом и сотней сотрудников, с широкими планами. Все это было вполне закономерно и понятно, но мы вспоминали старый Азиатский музей, как вспоминают красоту кустарных изделий, уходящую под натиском современного производства. Это неизбежно, но для выросших в старой обстановке такой красоты понятна и грусть по ней. И, вероятно, не я один с особым чувством вспоминаю «легенду» об Азиатском музее, сложившуюся в его недрах в 20-х годах. Действие ее происходило в царстве короля «доброто Бука», в замке рыцаря «Розовая гора»; жили там и добрый волшебник — сарацин, и суровый Питер-фламандец, было там целых три трубадура: Жюль — Auh cheveux longs (длинноволосый), Бус — Auh cheveux blancs (светловолосый) и Дус — Auh cheveux noirs (черноволосый); был даже жонглер Алексис Ле Беф и много, много других... Каждый из них и сегодня видится мне на фоне все тех же красных шкафов, тех же книг и рукописей, что десятки лет окружали нас в старом Азиатском музее.

## 2. Единственная рукопись и ученые „дванадесать язык“

В моей жизни арабиста часто встречались рукописи, которые были открыты давно, как-то незаметно, без всякого шума, но история их постепенного проникновения в науку напоминает иногда волшебную сказку: в ней появляется такое количество действующих лиц, судьбы их так неожиданно переплетаются, что даже неприкрашенная фабула оказывается поучительной иллюстрацией мощи коллективной международной работы, которая вовлекает в свое русло и первостепенные таланты и рядовых работников, и многомиллионные народы с давней арабистической традицией и нации, только на наших глазах получившие признание своей самостоятельности, и Восток и Запад во всем их

наружном многообразии. Картина величественная и поучительная, в которой как «солнце в малой капле вод» отражается неустанное движение человеческой культуры.

В XII веке в Кордове жил один арабский поэт. В придворных кругах многочисленных эмиров Испании, разделивших славный кордовский халифат, он был мало известен, но на рынках, ярмарках, всюду, где собирался простой народ, его встречали как желанного гостя не только в Кордове, но и в других городах Андалусии, в Севилье и Гранаде. Родным языком его был арабский; только обличье его — голубые глаза, рыжевато-золотистая борода, говорили о том, что среди его предков встречались и представители европейских народностей. Самое имя его «Ибн Кузман» было одинаково в ходу и среди арабов и среди испанцев. В своих стихах он не подражал старым арабским образцам торжественных панегириков на классическом языке; в его живых веселых песнях чаще всего говорилось про любовь и вино, нередко с намеками на необходимость помочь бедному бродячему певцу. Крупный талант превращал каждую песню в очень яркую картину всей обстановки и быта, обыкновенно смелую, очень часто фривольную... Литературным языком Ибн Кузман почти не пользовался, предпочитая ему народный разговорный диалект родной области и, не стесняясь, вставлял понятные там романские слова и целые фразы. Не удивительно, что такая поэзия была не в духе строгих литературоведов-пуристов, поклонников классической традиции: они считали ниже своего достоинства записывать веселые заджали (песни) Ибн Кузмана. Все же многим они нравились и постепенно продвигались на восток арабского мира. Здесь в Палестине в маленьком городке Сафад какой-то араб через несколько веков списал их для своего собственного развлечения. Прodelал он это аккуратно и тщательно, но далекого арабско-испанского диалекта он не знал, а о романском языке, конечно, не имел никакого представления; легко себе вообразить, какие искажения вкрались в список, местами механически воспроизводивший непонятное сочетание арабских букв. И все-таки, мы не много бы знали об Ибн Кузмани, если бы эта единственная, известная до сих пор рукопись не сохранилась у нас в Азиатском музее. Попала она сюда сложным путем, благодаря целому ряду счастливых случайностей.

В конце XVII века из Женевы в Сирию выселился некий Руссо, представитель фамилии, прославленной впоследствии знаменитым Жан-Жаком Руссо. Здесь ему удалось устроиться лучше, чем на родине, и постепенно он приобрел некоторый достаток. Ко времени французской революции его сын был консульским представителем своего правительства в Алеппо и Багдаде. Внук, выросший на Востоке, оставался человеком французской

культуры, но превратился в настоящего левантинца. Он в совершенстве владел арабским, персидским и турецким языками, хорошо знал по непосредственным впечатлениям не только Турцию, но и Персию, где выполнял важные дипломатические и торговые поручения французского правительства. Идя по стопам отца, как официальный коммерческий и консульский агент, он превосходил его и знаниями и некоторым научным интересом к тем странам, где жил. Долговременное пребывание в Алеппо, которое представляло тогда своеобразное «областное культурное гнездо», развило в нем вкус к литературе и собиранию рукописей. У него постепенно накопилась большая и умело подобранная коллекция; «диван» Ибн Кузмана явился далеко не единственным уникалом в ней. Вторую половину своей не очень спокойной жизни Руссо провел в Триполи африканском; его материальные обстоятельства в это время сложились так, что около 1815 года ему пришлось думать о ликвидации коллекций.

Он прежде всего обратился к французскому правительству с предложением приобрести их. Финансы, расстроены после наполеоновских войн, не позволили тому согласиться на довольно значительную сумму, которую с полным основанием требовал владелец. Знаменитый Сильвестр де Саси, крупнейший ориенталист своего времени, понимавший значение этой коллекции, сообщил о ней через учеников, приглашенных профессорами в Петербург, известному ему лично министру народного просвещения Уварову, автору проекта «Азиатской Академии», которым так интересовался Гёте. Коллекция была приобретена двумя партиями в 1819 и 1825 году. Франция лишилась ценного собрания, которое сыграло у нас громадную роль, положив основание мировым фондам Азиатского музея. Своей притягательной силой не меньше монет академического собрания она удержала навсегда в России знаменитого Френа, который из Казани, где прослужил десять лет, возвращался к себе на родину в Росток на кафедру своего умершего учителя. Этот первый хранитель Азиатского музея, основатель нашей научной арабистики, по достоинству оценил значение рукописей и с бенедиктинским трудолюбием в многочисленных томах своих материалов дал первое их описание — инвентарь. Стихи Ибн Кузмана были таким образом спасены и нашли надежное место хранения, но в науку они вошли еще не скоро — более чем через 60 лет.

В. Р. Розен, ставший основателем новой школы русского востоковедения, был избран в 1879 году адъюнктом Академии Наук очень молодым. Своим первым делом он наметил издание научного каталога арабских рукописей Азиатского музея. Составленный по-французски в свойственной Розену живой манере, он сразу ввел в обиход науки три сотни рукописей, главным образом коллекции Руссо, среди которых было не мало редкостей.

На «диван» Ибн Кузмана Розен обратил особое внимание, тонко оценив все своеобразие его стихов. Краткую характеристику поэта он иллюстрировал рядом произведений, впервые опубликованных здесь в арабском оригинале. Но этого мало. Животликаясь на самые разнообразные явления арабистической жизни, Розен любил и других вовлекать в работу. Чувствуя, что глубже всего к изучению Ибн Кузмана мог бы подойти лучший тогда в Европе знаток «*cosas de España*» — испанских сюжетов, голландский арабист Дози, он закончил описание рукописи как бы «провокацией» по адресу лейденского ученого, намекнув, что он основательнее всех мог бы исследовать этот памятник. Дози чувствовал, что дни его склоняются к закату (через два года он действительно умер) и не решился взяться за новую сложную работу. Он откликнулся на вызов Розена только письмом с некоторыми любопытными замечаниями относительно поэта и его стихов.

Научная жизнь рукописи благодаря каталогу Розена началась. В 80-х годах она совершила специальное путешествие в Гранаду, где ею занимался университетский профессор испанец Симонет. Он познакомил своих земляков с кордовским поэтом в специальной статье и часто пользовался деталями из его произведений в своих капитальных трудах по истории мосарабов. Однако за критическое издание никто не решился взяться, и долгие годы сборник Ибн Кузмана оставался доступным только тем, кто мог пользоваться единственной рукописью. Один ученик Розена, тоже под его влиянием, нашел здесь правильный путь, чтобы предоставить ее в руки всех заинтересованных ученых.

Барон Давид Гинцбург, ученик не только Розена, но и знатока арабской метрики француза Гюйяра, известный коллекционер и библиофил, сахарозаводчик и концессионер, находил все же время заниматься поэзией арабов и евреев, а в его посмертных бумагах сохранилось почти законченное исследование о метрике стихотворений Лермонтова. В широком круге своих интересов увлекаясь и арабской Испанией, он на свои средства издал в Берлине очень хорошей фототипическое воспроизведение рукописи Ибн Кузмана. Теперь над ней могли работать все желающие. Сам Гинцбург собирался дать специальное большое исследование. Широкий план, намеченный им в подзаголовке и в предисловии, мог бы послужить, как выразился один ученый, программой целой человеческой жизни, но, конечно, он оставил его неосуществленным, все время увлекаясь новыми начинаниями. Большой шаг вперед все же был сделан и с тех пор наша рукопись уже не так часто ездила в чужие страны; фототипическое издание Гинцбурга сделало ее доступной всем ученым, хотя само быстро превратилось в библиографическую редкость.

Постепенно Ибн Кузман начинал становиться живой фигурой для своих далеких потомков — испанских ученых. С трудом и

настойчивостью, начиная с последних десятилетий XIX века, они пробивали брешь в неверии к испанской арабистике, которую дискредитировал Конде, развенчанный Дози. Наконец труды Рибера заставили отказаться от принципа *Hispanica non leguntur* (ис-испански не читают).

В своих работах Рибера смело реконструировал отдельные песни Ибн Кузмана и всю обстановку, в какой они создавались, освещая фон очень сложной картины. Его полные энтузиазма выводы не лишены иногда увлечений и некоторые ученые подходили к ним с недоверием. Игра судьбы пожелала, чтобы на достойную уважения полувековую деятельность Рибера запад обратил более серьезное внимание после работы русского ученого, уже младшего ученика Розена.

Романисты начинали понимать, что Ибн Кузман для них так же важен, как и для арабистов. Еще один ученик Розена, известный испанист Д. К. Петров в последние годы жизни стал заниматься рукописью, но слишком рано покинул этот свет. Арабская оболочка «дивана», плохо передававшая звуковую сторону, иногда мешала проникнуть в законы его фонетики и метрики: нагляднее они стали бы в латинской транскрипции. Такую работу и выполнил арабист и романист чех Никль, долгое время бывший профессором романских языков в североамериканских университетах. Появление «латинизированного» Ибн Кузмана вызвало оживленные отклики в Европе и в Америке. Они показали, что попытка Никля, быть может несколько преждевременная со строго научной точки зрения и выполненная иногда поспешно, осуществляет все же очень важный замысел. Его издание явилось вторым после Гинцбурга этапом в создании «инструментов работы» над песнями Ибн Кузмана.

Литература об Ибн Кузмানে продолжала неустанно расти, надо было дать сводный обзор, и в дополнительном выпуске к международному изданию «Энциклопедии Ислама», выходящей на трех языках, появилась уже вторая статья об Ибн Кузмানে. Первая — в основном томе была написана солидным немецким ученым в ту пору, когда исследование Ибн Кузмана только начиналось; составителем второй оказался пионер научного востоковедения в Югославии Байрактаревич, в своей подготовке объединивший школу венского и алжирского университетов. Не менее поучительно, что через 60 лет после первой французской заметки о рукописи Розена появилась тонкая аналитическая работа о некоторых стихотворениях Ибн Кузмана на стильном французском языке талантливого финского арабиста-романиста Ойво Туулио. Конечно, исчерпывающее фундаментальное исследование о кордовском поэте еще впереди, но усилиями целого ряда ученых разных направлений работа поставлена на прочные рельсы и теперь уже не сойдет с них.

Долгие годы в одной витрине постоянной выставки рукописного отдела Института востоковедения — наследника старого Азиатского музея — лежала простая скромная рукопись на желтоватой бумаге в невзрачной пестрой выцветшей картонной обложке восточного происхождения. Проходя мимо, я каждый раз останавливался около нее с особым чувством — это был знаменитый уник — «диван» Ибн Кузмана. Мне казалось, что рукопись обладает какой-то притягательной силой для ученых: кого кого только не было среди взглядывавшихся иногда долгие годы в эти пожелтевшие листы или снимки с них, — англичане, французы, русские, голландцы, испанцы и немцы; ее загадочные иногда строки расшифровывал и еврей и чех с неменьшим упорством, чем серб или финн. Поистине мировой интернационал науки, объединенный одной целью! И как трогательно прозвучали заключительные слова финского ученого в его работе об Ибн Кузмানে, продиктованные на больничной койке в последние дни его жизни: «О, мировой интернационал науки! Если б твой кроткий дух скорее опять возобновил свою мирную работу!» *Ha bent sua fata manuscrupta* (имеют свою судьбу рукописи) и волшебная сила их, объединявшая в едином порыве стольких ученых, когда-нибудь окончательно прогонит злых духов тьмы, стремящихся разъединить людей и народы.

### 3. Современник первого крестового похода (1919—1921)

Трудно жилось и арабистам Петрограда в 1918—1920 годах. Весь город замирал и голодал, научные учреждения с темнотой должны были прекращать свои занятия. Университетские лекции по арабистике печально ютились в одном уголке библиотеки, но и там температура была не выше 3 градусов, а иногда замерзали чернила. Маленькая, хотя и стойкая плеяда арабистов держалась тесно, однако тосковала по своим друзьям: лучшие рукописи Азиатского музея еще в 1917 году были эвакуированы в Саратов, а между тем так часто хотелось посмотреть на какого-нибудь старого приятеля, перелистать его знакомые страницы или проверить впервые мелькнувшую мысль.

Остро почувствовалось это, когда М. Горький основал издательство «Всемирная литература», восточная «Коллегия» которого объединила всех наличных востоковедов в увлекательной, впервые широко задуманной работе. И по арабской литературе был составлен большой план намеченных для перевода сочинений. В первую очередь шла «Книга назидания» — мемуары современника ранних крестовых походов сирийского эмира Усамы (1095—1188). Впервые русские читатели должны были познакомиться с живой картиной всей эпохи, воссозданной простым непринужденным стилем в воспоминаниях старого рассказчика-рыцаря, охотника и писателя.

Редактируя перевод и подготавливая вступительную статью, я еще раз задумался над другими сочинениями эмира-литератора. О них писали неоднократно, однако я с большим изумлением увидел, что никто не обратил внимания на старые — еще 20-х годов прошлого столетия — статьи Френа, который упоминал, правда мельком и попутно, о сохранившемся в Азиатском музее автографе сочинения Усамы «Книга стоянок и жилищ». Я тоже случайно наткнулся на это упоминание в работе преемника Френа, второго директора Азиатского музея Дорна и, признаться, сразу же ему не поверил: мне казалось почти невозможным, чтобы европейская наука и в особенности французский ориенталист Деранбур, чуть не половину жизни занимавшийся Усамой, не знал ни про это сочинение, ни про автограф своего героя. Конечно, авторитет Френа очень велик, и даже в случайных замечаниях надо к нему прислушиваться, но он писал больше ста лет тому назад, когда других сочинений Усамы не знали; он мог смешать его с каким-нибудь мало известным тогда его произведением. Но почему же Френ так определенно считал рукопись автографом? Тщетно я пытался найти какие-нибудь указания в других местах, других источниках; ничего не попадалось, и я безуспешно ломал себе голову над этим в тяжелые зимние ночи 1920 года, стоя на дежурстве у ворот дома.

Только летом 1921 года рукописи вернулись обратно в свое «жилье» и едва ли не первой моей мыслью при распаковке их был автограф Усамы. Ящики внесли в старое помещение Азиатского музея, с которым наш маленький тогда штат особенно близко сжился за протекшие годы. Опять, как не раз, задрожали у меня руки, когда в них оказался довольно большой том с нужным шифром. Мне стало как-то страшно его раскрывать: при всем скептицизме думалось — «а вдруг я в самом деле увижу внутри строки, писанные еще при жизни Саладина и Ричарда Львиное Сердце их достойным современником, другом и противником!» Первое впечатление сильно разочаровывало — черный переплет был невзрачен и безвкусен, вероятно, не старше последнего владельца перед Азиатским музеем француза-левантинца Руссо в начале XIX века. С некоторым напряжением воли я заставил себя, наконец, раскрыть том и, по обычному рефлексу «рукописника», на этот раз с торопливой жадностью, стал рассматривать конец и начало манускрипта. Разочарование усиливалось: рукопись оказалась дефектной и там и здесь. Конец отсутствовал и теперь, а начало было реставрировано значительно позже основной части другой рукой на новой бумаге. Хотя мы хорошо знаем, что в рукописях чаще всего исчезали действительно последние и первые листы в связи с обычной системой хранения их на Востоке в лежащем виде, а не стоя, как у нас, но все же реставрация всегда заставляет насторожиться в вопросе о подлинности сочинения. Часто владелец или какой-нибудь старинный антиквар подделывал начало или конец, чтобы придать рукописи более древний вид или

приписать сочинение какому-нибудь знаменитому автору. С грустью и недоверием я пробежал первые строки реставрированной рукописи: «Говорит Усама ибн Муршид ибн Али ибн Мукалляд ибн Наср ибн Мункыз кинанит, да простит Аллах ему...» В настоящем виде выписанные безличным почерком переписчика Уми сами по себе были для меня не убедительны. Опять и опять я задавал вопрос: почему же Френ решил, что это автограф?

Раскрыв рукопись на середине, уже без особых надежд, я вдруг почувствовал, что мое разочарование бледнеет и с приливом нового волнения стал ее перелистывать. И бумага и письмо, по внешнему виду, могли относиться к XII веку; в руке чувствовалась уверенность человека много писавшего, в системе огласовки и смелости некоторых лигатур сразу был виден не профессионал переписчик, а ученый литератор. Рукопись производила впечатление строгости и своеобразного достойного изящества. Я стал приглядываться внимательнее и вдруг почувствовал знакомый мне трепет, который сопровождает неожиданно вспыхивающую искру каких-то подсознательных открытий: мне показалось, что в отдельных линиях некоторых букв заметно старческое дрожание руки. Если это действительно автограф, то не писал ли его Усама стариком?

Я опять схватился за предисловие, чтобы проверить, нет ли в нем каких-нибудь намеков на повод к сочинению или хронологических дат. К географической литературе, как можно было бы думать по традиционному заглавию, оно никакого отношения не имело. Уже в вводной части с обычным прославлением Аллаха и Мухаммеда я точно почувствовал в кадансированных фразах рифмованной прозы какой-то личный элемент, который просвечивал через традиционные образы. Переход к существу сразу указал мне нить. Автор писал чеканными краткими предложениями высокого стиля, которые звучали здесь серьезно и даже мрачно: «...Вызвало меня собрать эту книгу разрушение, которое постигло мою страну и родину. Ведь время протянуло над ней свой подол и устремилось стереть ее всей своей мощью и силой... Изгладились все поселки и погибли обитатели; жилье стало следом, а радости превратились в печали и горести. Я остановился там после сокрушивших ее землетрясений... и не узнал я ни своего дома, ни дома моего родителя и братьев, ни домов моих дядей, ни сыновей дяди, ни моего рода. В смятении стал я взывать к Аллаху о великом его испытании, о том, что он отнял милости, которые раньше даровал. Потом я удалился... дрожь на ходу и качаясь, как склоненный под тяжестью. Так велика была утрата, что иссякли торпливо текущие слезы, а вздохи следовали один за другим и выпрямляли кривизну ребер. И не остановились превратности времени на разрушении домов и гибели жителей, но гибель их всех случилась во мгновение ока и еще быстрее, а затем пошли бедствия одни за другими с этого времени и дальше. И стал я искать успокоения, составляя эту книгу, и сделал ее оплакивани-

ем жилья и любимых. Это не принесет пользы и не поможет, но это верх моих усилий. И Аллаху — славному и великому — жалуюсь я на свое одиночество, без семьи и братьев, на свое скитание по чужбине, без своей страны и родины...»

Намек на землетрясение, как ярким лучом прожектора, сразу осветил в моих глазах историю книги. В августе 1157 года это стихийное бедствие постигло всю северную Сирию; тридцать крупнейших городов было разрушено, а в их числе и родина Усамы Шейзар. Все его родственники находились в замке одного из них на семейном празднестве и все они погибли под развалинами. Мне стало ясно, что предисловие отражает не просто риторические образы, а действительно событие; книга несомненно составлена Усамой, в душе которого трагическая катастрофа навсегда оставила следы. Когда же он писал эту книгу, если она в самом деле автограф? В 1157 году ему было 62 года, — возраст почтенный, но для человека, дожившего до 93 лет, еще не глубокая старость, когда руки при письме дрожат.

И на этот вопрос рукопись дала мне ответ благодаря хорошей традиции арабских библиофилов делать разные приписки в начале и конце книг, которые попадали в их владение. Одна из таких приписок на первой странице принадлежит известному дамасскому литератору конца XVI века. Из нее ясно, что тогда последний лист рукописи еще существовал и на нем рукой самого Усамы было написано, что он окончил ее в первой джумаде 568 года (т. е. в декабре 1172 года) в Хысн Кайфа. Этот перекрестный луч опять освещает нам один период в его биографии. Десять лет своей жизни с 1164 по 1174 год он провел гостем одного эмира в крепости Хысн Кайфа на Тигре, недалеко от Диярбекара. Старость брала свое и за этот период в его автобиографии уже мало слышно про битвы и охоту, а больше про литературные занятия. К этому времени относится основная часть его автобиографии и в это же время в 1172 году он написал так долго волновавшую меня рукопись. Тогда ему было 77 лет и едва ли моим самовнушением объясняются дрожавшие начертания некоторых букв.

Последние годы Усама прожил в Дамаске, следя за подвигом Саладина и вспоминая свою собственную молодость. Вероятно, он перевез туда из Хысн Кайфа и свою библиотеку, как сделал много лет тому назад, когда переселялся из Египта в Сирию. Но тогда она со всем имуществом погибла в Средиземном море. «И только гибель книг, вспоминал Усама, останется раной в моем сердце на всю жизнь». Теперь переезд совершился благополучно и таким путем в Дамаске оказалась рукопись-автограф «Книги стоянок и жилищ».

В конце XVI века она была там еще в полной сохранности; приписка второй половины XVII века говорит, что последних листов уже нет. В XVIII веке она попадает во второй центр арабской литературы того времени — в Алеппо: на это указывает еще одна приписка нового владельца, местного поэта и общественного

деятеля в 1810 году. Он был приятелем известного нам француза Руссо и, может быть, сам подарил ему эту рукопись. В составе второй коллекции последнего в 1825 году она нашла себе дорогу в Азиатский музей.

Лихорадочно, с жадностью разбирал я все эти приписки — и каллиграфические и торопливые, и стихотворные и полуграмотные; я невольно думал о том, как ровно за сто лет до меня, в них с таким же интересом вглядывался Френ. Теперь для меня был отчетливо ясен ход его мыслей, открывший автограф эмира Усамы. Скромно, двумя скупыми строчками в рукописном каталоге и в затерявшейся газетной статье он отметил свое открытие, без всяких подчеркиваний; европейская арабистика сто лет о нем ничего не знала. Старый Азиатский музей, бережно хранивший уникальную рукопись, оказался свидетелем как бы второго открытия ее уже в четвертом поколении ученых после Френа. Теперь новая волна арабистики вынесла сведения о ней в широкое море мировой науки: они закреплены уже и в «Энциклопедии Ислама» и в бесценном своде Брокельмана. Как же не повторить старую истину, что книги имеют свою судьбу? Не всегда только эта судьба прослеживается так отчетливо по всем этапам, как в дефектной, лишенной начала и конца рукописи, которая оказалась автографом сирийского эмира, современника первого крестового похода.

#### 4. Лоцман Васко да Гамы

Работа над рукописями несет свои радости и свои горести, как все в жизни. Рукописи ревнивы: они хотят владеть вниманием человека целиком и только тогда показывают свои тайны, открывают душу — и свою, и тех людей, что были с ними связаны. Для случайного зрителя они останутся немые: как лепестки мимозы от неосторожного прикосновения, закроются их страницы и ничего не скажут они скучающему взору. Ничего он не рассмотрит в них, кроме однообразных мало разборчивых строчек, обыкновенно, на плохой дешевой бумаге в истрепанном оборванном переплете.

Для специалиста в работе над рукописями выпадают и праздники, когда какое-нибудь открытие блеснет перед ним сначала маленькой искоркой, в которой даже боишься обнаружить обман зрения, а затем залетит все ярким лучом, когда уже нет места колебаниям. Но как за минуты синтеза надо платить годами анализа, так и эти праздники даются только в награду за долгодневную будничную работу тщательного просмотра десятков и сотен мало интересных экземпляров однообразных рукописей второго и третьего сорта. Против некоторых из них создается даже какое-то личное предубеждение и со вздохом берешь их в руки, когда дошла очередь или судьба натолкнула на них случайно.

К таким пасынкам рукописных коллекций принадлежат сборники, где содержится много сочинений. Чаще всего это традиционные учебные трактаты, которые каждый прилежный ученик хотел объединить для себя в одной как бы «общей тетради». Они повторяются нескончаемое число раз с очень малыми вариантами. Уже с ранних веков в каждой науке был строго установлен незыблемый канон — и в грамматике, и в праве, и в логике, и в арифметике. Порядок почти не нарушается и все такие «общие тетради» разнятся только объемом, да большей или меньшей аккуратностью своего составителя-ученика.

К счастью, хоть и редко, встречаются иногда бесценные сборники и другого типа, как бы тематические, в которых специалист стремился объединить нужные ему сочинения. Так, один арабский окулист середины XII века в Иерусалиме составил для своего собственного врачебного употребления сборник десятка ученых трактатов по анатомии, физиологии и патологии глаза с различными рисунками и чертежами. Он сам был крупный специалист и рукопись оказалась очень высокого достоинства по своему выполнению. Когда великолепный экземпляр из собрания патриарха Григория попал в Азиатский музей, он произвел сенсацию и в Европе и в арабских странах. Медицинский факультет Египетского университета в Каире опубликовал ряд трактатов из него, подготовленных лучшим знатоком дела, давно живущим в Египте офтальмологом и историком науки М. Мейерхофом.

Иногда оказываются ценными и сборники, в которых даже трудно уловить определенный стержень, но которые составлял любитель для себя с большим вкусом и знанием. Стоит вспомнить одну такую казанскую рукопись, куда включены и отрывки из переписки Авиценны, и изречения распятого в X веке еретика аль-Халляджа, и уникальный, до сих пор неизвестный трактат о шахматной игре — все в очень тщательных копиях, обличающих опытного библиофила-знатока.

И тем не менее, такие сборники — большая редкость, общая же невысокая репутация их обоснована. Обыкновенно, только по обязанности подходит к ним исследователь и торопится по возможности быстрее освободиться от утомительной и мало продуктивной работы описания этих «общих тетрадей». Еще более падает настроение, когда попадаются сборники со статьями на разных языках, чаще всего арабском и персидском или арабском и турецком. При неизбежной дифференциации науки, за описание их теперь редко берется один и тот же специалист. Наличие турецких частей для арабиста говорит, что арабские трактаты переписаны поздно, а значит для классического, наиболее творческого периода арабской литературы едва ли найдется что-нибудь интересное; турколог, видя с неудовольствием арабские сочинения, предполагает, что и турецкие вероятно только перефразируют или комментируют их, как часто бывает в «общих тетрадях». Так и остается бедный сборник на долгие годы «res nulli».

us» — никому не принадлежащим имуществом, мимо которого проходит всякий специалист, если он даже подвернется ему на дороге. И все-таки и в отношении к сборникам нужна великая осторожность: рукописи иногда бывают коварны и любят неожиданно мстить за невнимание к ним. Об одном таком случае с собой я и хочу рассказать.

Не один раз в начале своей работы в Азиатском музее, мечтая о продолжении розеновского описания старых коллекций, я брал в руки один смешанный турецко-арабский сборник. Ничего внимания он раньше не привлекал и рукописная заметка о нем, неизвестно кому принадлежавшая, была мало значительна. Центр составляли турецкие части: они были переписаны красиво и, с точки зрения турколога, даже довольно рано — в начале XVI века. И по содержанию они представляли интерес. Там был какой-то трактат по музыке, который теперь после исследований Фармера мог бы, вероятно, найти свое место в науке. Была там одна из довольно ранних, очевидно, версий романтически-трагичной истории Джем-султана. Этот сын Мухаммеда завоевателя выступил после него претендентом на престол. Разбитый своим братом Баязидом II, он бежал сперва в Египет к мамлюкскому султану Каитбею. Из северной Сирии он попытался еще раз завладеть османским государством, но после вторичной неудачи бежал в 1482 году на Родос. Гроссмейстер ордена иоаннитов, опасаясь каких-нибудь политических осложнений, интернировал его сначала во Францию, а затем выдал папе. По настоянию своего брата, даже уплачивавшего какую-то сумму, он содержался в плену и был в конце концов отравлен в Риме в 1495 году не то по интригам брата, не то по каким-то соображениям самого папы Александра VI. Через четыре года тело его было перевезено в Брусу и там похоронено. Рукопись, передающая рассказ про его судьбу, по времени, как будто, достаточно близка к этим событиям и могла бы, вероятно, заинтересовать туркологов.

Арабские части казались мне более «серыми». Они были переписаны довольно небрежно, другой рукой, и сводились, главным образом, к трем «урджужам» — стихотворениям какого-то Ахмеда ибн Маджида с довольно скучным, как мне казалось, перечнем морских переходов где-то около Аравии. Автора идентифицировать мне не удалось; наши обычные руководители Брокельман и Хаджи Халифа ничем здесь не помогли. Я и не был особенно настойчив — стихотворения производили на меня впечатление набора имен для какой-то дидактической мало понятной цели. Несколько раз я брал сборник в руки, но описание его так и не двинулось.

Между тем приближалась середина 20-х годов. Постепенно наши международные сношения восстанавливались; начинала поступать с Востока и Запада литература, понемногу заполнявшая накопившиеся за время войны громадные лакуны. Иногда я не знал, какую брешь в своих познаниях скорее заделывать — так

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد كنت رب العالمين والمصلين والسلام على محمد وآله وصحبه  
 المسما بالسفالية ومعناها يقضي معرفة البحاري والقياسين من مياره كليل  
 وجوزت شعرا السعد والاطوح الى سيف الطويل وسه الي نواحي السواحل  
 والريخ وارضى السفال الفوجزوه ونواد معلوم جميع ما في تلك النواحي لب  
 حوالا ارض من بحوزة ذكر قبسات بحرف بهم الحلة القمصان والذياه في  
 سبع الاحثان ووصف نوادر في تلك الطريق من القينات والورد الحارث  
 وشبان الارض وملوكها ومواسمها وسفرها على ما بين يديها من وسفها اخرج  
 راع ثلاثة حاج ليريس من يديها من سواد الدين حمدن ما احد بعد الله رحمة الرحيم

من عدم جل جانب ملام	محمد لله الذي استمالا
و ذراف العبد من البطافه	فد كنت الاسبس من اوصافه
بحرى غلجاني صباح وشمير	لو لم يكن اولعاسم الذي سر
وحوررات من له نول	من ارض كابلوت معاه ابيدي
فانزل بضع حالي باصاحي	نهرهم مع الاطوح
ابي سفاله استمع وبع	ابي السواحل و نواحي القدر
من حاه اصعبن القلات	من ارض كابلوت الى العالاق
على قدر ريجك في المسير	من ارض كابلوت الى العالاق
فانتم كعني محمد اصادفا	من ارض كابلوت الى العالاق
بعول في الحوض ربح العدر	من ارض كابلوت الى العالاق
ذكر سمي العالاق فنت اخرون	من ارض كابلوت الى العالاق
مخالفا على ذوى النار	من ارض كابلوت الى العالاق
تدكن بالبد بع في الاسفار	من ارض كابلوت الى العالاق
كون له فيه عده وشمير	من ارض كابلوت الى العالاق
ذال تبولش ثلاث كمالا	من ارض كابلوت الى العالاق
وساهله براه بالقمص	من ارض كابلوت الى العالاق

1. Лоция лоцмана (III, 4) Васко да Гамы.

много интересных новостей приносили эти книги. То я хватался за египетские издания, с большой радостью констатируя, как за эти годы перерыва выросла почти не существовавшая раньше арабская драма и новелла. То я бросался к европейской арабистике, поглощая новые издания классических текстов и статьи о новых открытиях. Пробегая их, я любовался, с каким мастерством французский ориенталист Ферран вводил в науку неизвестную раньше интереснейшую главу о морской географии XV века: только с его знанием и ближневосточных, и малайских, и индийских, и дальневосточных языков можно было это сделать, только комбинация европейских и восточных источников приводила к таким незабываемым результатам. Постепенно фигура арабского лоцмана Васко да Гамы начинала приобретать живое обличье. Что у него при первом переходе из Малинди в Каликут в 1498 году был пилот араб, об этом давно было известно, но «Малемо Канака», или «араб из Гуджерата» португальских источников, звучали как-то темно и смутно. Комбинируя эти данные с арабскими и турецкими свидетельствами, Ферран как раз в эти годы сумел установить настоящее арабское имя пилота, выяснить, откуда он был родом. Мало того, за время нашего разобщения с мировой наукой удалось обнаружить в Национальной библиотеке в Париже и собственные произведения этого пилота; он был не только выдающийся практик, но и теоретик. С немного иронической улыбкой я читал, как до 1912 года эти сочинения лежали никому неизвестными в Национальной библиотеке, хотя одна рукопись находилась там с 50-х годов.

И почти в тот же самый момент я почувствовал, как краска стыда приливает у меня к лицу. Ахмед ибн Маджид! Да ведь так зовут автора тех стихотворений, что находятся в сборнике, который я со скучающим видом несколько раз держал в руках! С ощущением не то провинившегося школьника, не то наказанного щенка я опять схватил рукопись, которая так обидно посмеялась надо мною за невнимательно высокомерное отношение к ней. Сомнений быть не могло. И содержание и форма этих «урджуз» были совершенно аналогичны тем, которые обнаружил сотрудник Феррана в Париже. Конечно, это не был автограф знаменитого лоцмана, но, судя по всем данным, копия могла быть сделана вскоре после него. Все урджужы представляли так называемые «лоции» — морские маршруты с указанием переходов и общими сведениями о пути. Одна касалась плавания по Красному морю, вторая по Индийскому океану, третья описывала дорогу оттуда к восточной Африке. В рукописи Национальной библиотеки их не было и я поспешил написать Феррану с просьбой сообщить, не известны ли ему три этих лоции по каким-нибудь другим источникам. Ответ был отрицательный и по мнению Феррана их следовало считать униками. Разбор их без предварительной подготовки был делом не легким и, несмотря на весь соблазн, я, поглощенный тогда другими обязанностями, не мог за это взяться.

Только в одном докладе в Географическом обществе я показал на экране снимок с первой страницы одной из лоций, на которую с интересом смотрели наши моряки. Ферран охотно взялся за предложение обработать открытые уники для издания. Не знаю, успел ли он приступить к этому, но вскоре в 1928 году я получил присланное по хорошему западному обычаю лаконичное печатное сообщение о его смерти. Продолжателей во Франции у него не нашлось, и наши лоции пилота Васко да Гамы опять остались без движения на полочке.

Лет через пять у меня появился один даровитый ученик, который без всякой моей инициативы оказался энтузиастом арабской картографии и географии. С большой радостью он познакомился с этими «лоциями» и по достоинству оценил их значение. Я с удовлетворением видел, как он упорно преодолевал трудную терминологию и настойчиво добивался идентификации географических названий. Его неслабеющий энтузиазм обещал хорошие результаты, он рос на моих глазах, но ряд обстоятельств прервал его научную работу в самом начале.

Так, этот замечательный сборник все еще ждет своего исследователя. К старости мои руки все больше и больше ни до чего «не доходят», и я могу только перефразировать слова того музыканта, который говорил: «В молодости у меня в голове было много мелодий, но я не умел сочинять вариаций, теперь я легко пишу вариации, но не знаю, какую мелодию выбрать». И все же в бессонные ночи иногда мною овладевает мечта: «Как хорошо было бы иметь хоть пять арабистов с разными уклонами для описания рукописей! Тогда, разделив наши коллекции по дисциплинам, можно было бы в пределах человеческой жизни составить полный образцовый каталог, который ввел бы в научный обиход колоссальный и важный материал. Тогда и «лоциям» пилота Васко да Гамы не пришлось бы ждать второго столетия, пока ими кто-нибудь заинтересуется и опубликует. Но увы, народная арабская пословица говорит: «Если бы» дома не построит!»



#### IV. В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

##### 1. Библиотекари и библиотека (1901—1930)

Два голоса доносятся ко мне из «служительской» комнаты за стеной через глухое окно. В вечерней тиши библиотеки я хорошо различаю их: один принадлежит эстонцу или латышу Ивану, которого я давно прозвал оптимистом, второй — медлительный и солидно-угрюмый — такого же заслуженного деятеля библиотеки Петра. Время близится к девяти часам, скоро библиотеку пора закрывать, их вечерняя работа кончается, и они — давние друзья, но вечные спорщики — мирно беседуют, как всегда на библиотечные темы, вне которых нет для них жизни уже больше двадцати лет.

И в этом случайном разговоре ярко отражается темперамент обоих. Несмотря на дружбу, они совсем не похожи один на другого. Иван «оптимист», маленького роста, подвижной, рыжеватый, всегда приветлив и разговорчив, особенно, если находится под легким влиянием спирта, что с ним часто бывает; работу каждого из ученых, входящих в библиотеку, и старых и молодых, он считает своей и без усталости таскает снизу или сверху нужные книжки, обходясь без промежуточных инстанций библиотекарей или каталогов. Он знает хорошо латинский шрифт, немного знаком с немецким языком; это позволяет ему на память находить разные «зицберихи», как он называет Sitzungsberichte (протоколы заседаний) и Венской Академии и всех других. Рангов он не признает, и людей расценивает по их отношению к книгам и частоте посещений библиотеки. Раз, когда вниз зашел профессор Ф. Ф. Мартенс, светило международного права, бывавший часто председателем Гаагского трибунала, Иван его проводил к директору, добавив в напутствие: «Вам вниз делать нечего, там у нас ученые занимаются». Зато не только среди юных приват-доцентов, но даже среди недавно «оставленных при университете», стоит им появиться во внутренних помещениях библиотеки, он быстро находит своих любимцев, которым помогает не хуже лю-

бого библиотекаря и, не жалея, поит «казенным» чаем с сахаром. И надо сказать, глаз его редко ошибается: много восходящих звезд он заметил на своем веку еще задолго, как те были призна- ны официальной наукой.

Петр — «пессимист», на него не похож: высокого роста, худо- щавый, с сильной проседью, он хорошо сохранил следы былой военной выправки. Всегда суровый и неразговорчивый, он так же основательно и давно знает библиотеку, так же корректен и услужлив, но к нему как-то стесняешься обращаться с просьба- ми и поджидаешь, пока вернется сверху Иван. Иван холост; Петр давно овдовел и, говорят, с той поры начал пить, но навеселе его никто не видал в библиотеке: он пьет только перед праздниками и только у себя дома. У него взрослый сын, который служит здесь же младшим библиотекарем и работает по выдаче книг студентам в читальном зале; и к нему Петр относится так же сурово. Про- странно он говорит, кажется, только с одним Иваном.

И теперь до меня доносятся короткие реплики его рокошущего баса в ответ на перерывистые с сильным акцентом точно торопя- щиеся куда-то теноровые фразы Ивана. Я не все различаю, да и не слушаю их; целый день, только выйдя на час пообедать, я про- сидел в библиотеке над бесчисленными выписками для будущей диссертации. Глаза устали, скоро закроют библиотеку, и я забыл про выписки; под зеленым абажуром среди стеллажей с книга- ми так хорошо думается не то о диссертации, не то о близкой поездке на Восток, и даже приглушенный разговор за стеной точ- но аккомпанирует мыслям. Вдруг я слышу упоминание моей фа- милии и, невольно насторожившись, начинаю прислушиваться. Говорит Иван «оптимист»:

— «Вот Крачковский и по вечерам стал ходить: сегодня опять сидит».

— «Видел!» — раздается слегка недовольная реплика Пет- ра. — «Дня ему мало!»

— «Верно торопится», — продолжает свои мысли, точно не слушая, Иван. — «Скоро его на Восток к арабам в командировку пошлют, пускай еще там поучится».

— «Ходить-то он ходит», — как бы начиная задирать собесед- ника, басит недовольно Петр. — «А вот прок какой будет?»

— «Почему не будет?» — все еще спокойно говорит Иван. — «Походит, походит, а там смотришь и диссертацию напишет, за- щитит, магистром будет. Восточники это, что классики — настоя- щий народ, не то что юристы. Юрист раз в месяц придет в биб- лиотеку и уже книгу написал: что же это за работа? А вот фило- лог или восточник — года два каждый день сидит, это дело на- стоящее».

— «Ходить-то он ходит», не сдается Петр, — «да выходит ли еще что? Вон и Руднев ходил, а что проку: и диссертации нет, и волосы на голове все вылезли. Смотри, чтобы и с Крачковским того же не вышло».

Мне сразу делается весело, и я невольно начинаю думать не о диссертации, а о том, что вдруг у меня тоже вылезут волосы. Действительно, такой случай недавно произошел от какого-то нервного заболевания с моим старшим коллегой монголистом Руд- невым. Ответа «оптимиста» я уже не слышу. Минуту царит, оче- видно, растерянность и молчание, затем раздается негодующее «тфу!» и Иван выходит из комнаты, хлопнув дверью. Опять друзья разошлись во взглядах.

Конец их тоже был неодинаков. Как-то в понедельник, уже во время первой мировой войны, я пришел в библиотеку утром и застал Ивана с распухшим от слез лицом. «Петр-то, Петр...» едва он мог проговорить. «Что такое?» — встревоженный спросил я. «Умер в субботу; пришел со службы, поставил на стол бутылоч- ку, стаканчик выпил, налил второй, да так и умер за столом. Сын и нашел его здесь, а стаканчик полный остался. Какая счастливая смерть!» неожиданно закончил он и опять залился слезами. С этой поры Иван, лишившись своего постоянного друга и спорщи- ка, стал как-то скучать и все чаще и усиленнее прибегать к спир- ту. В 1917 году после февральской революции он вернулся к себе на родину и по слухам устроился тоже где-то в большой биб- лиотеке.

Мое место, откуда я слышал этот знаменательный разговор, досталось мне не сразу. Оно было внизу, в первом этаже среди стеллажей, где стоял большой стол, целиком находившийся в моем распоряжении. Почти рядом помещался близкий сердцу во- сточника отдел О (Orientalia), откуда было легко приносить нуж- ные мне тогда восточные издания; в другом конце стояли ясене- вые светложелтые шкафы с рукописями, содержание которых по существу я оценил гораздо позднее. Заниматься было удобно, так как во всем этаже находилось только два-три таких же больших стола для работающих; тишина едва нарушалась мягкими шага- ми служителей, бравших или ставивших обратно на стеллажи книги. Окно выходило в университетский сад, зимой закутанный белой и плотной пеленой ослепительно чистого снега, нависавше- го на ветвях, летом и осенью с густой зеленью, на которой спо- койно отдыхали глаза. По вечерам на столе горела лампа под зе- леным абажуром. Проходя иногда по Университетской линии в те дни, когда не удавалось бывать в библиотеке, я через деревья сада определял, где «мой» стол. Столы эти предназначались соб- ственно только для библиотечных работ служащих и, чтобы по- пасть за них, надо было снискать расположение не одного Ивана, а и других более высоких инстанций, пройдя ряд этапов. Дела- лось это, однако, как-то незаметно и без всяких формальностей.

Нам, восточникам, приходилось знакомиться с библиотекой с самых первых курсов: нужные учебники и пособия, особенно во- сточные словари, почти всегда на иностранных языках, редко можно было найти в продаже, да и стояли они при выписке из- за границы совершенно немыслимые для студента суммы. Библио-

тека была обставлена хорошо, а восточники пользовались правом одновременного получения не 6, а 12 книг. Счастливы, умевшие записаться ими до общего наплыва, получали иногда словари даже на дом, другие должны были заниматься в студенческом читальном зале. Для меня, жившего в «Коллегии» через двор, это никакого неудобства не представляло.

Получали мы книги через окна во внутренних помещениях библиотеки, где действовали младшие библиотекари, далеко не всегда бывшие таковыми по возрасту. Они быстро присматривались к нам и безошибочно определяли удельный вес каждого студента; для большинства норма молчаливо вырастала до 18 книг, а в серьезных случаях могла превысить и ее. Очень скоро библиотекари изучали и наши очередные нужды: стоило моей тужурке появиться у окна, как оттуда раздавался голос невидимого в темноте библиотекаря: «Вам сегодня «Суплемент» или «Якута»? и после ответа появлялись стоявшие здесь же среди справочников знаменитый «Supplement» — словарь Дози или не менее знаменитый у студентов-арабистов, писавших «зачетное» сочинение, которое заменяло экзамен при переходе с третьего на четвертый курс, арабский географический словарь Якута в шести томах.

Более сложные случаи разрешались обыкновенно тоже просто. Как-то раз, заинтересовавшись заглавием, я выписал себе только что полученную в библиотеке новую книгу «Provincia Arabia» Брюннова и Домашевского, не подозревая, что она собой представляет. На следующий день библиотекарь вместо книги вдруг вернул мне требование со словами: «Книга студентам не выдается, в ней много таблиц и карт, вас просит по этому поводу зайти Крейсберг». Смущенный таким неожиданным оборотом, я пошел за служителем первый раз во внутренние помещения библиотеки, где в зале за обычным столом восседал тогда главный библиотекарь, еще не носивший титула директора, Александр Романович Крейсберг. Он был ставленником и продолжателем традиций основателя нового периода в жизни университетской библиотеки К. Г. Залемана, впоследствии академика, директора Азиатского музея и Библиотеки Академии Наук.

Наш турколог В. Д. Смирнов, не долюбивая немцев, острил над ними и их обычаем печатать инвентари под латинскими заглавиями; он говорил, что раньше был в библиотеке Залеман Revalensis (ревельский), а теперь царит Крейсберг Dorpatensis (дерптский). Надо сказать одно, что порядок был заведен ими в библиотеке большой. Крейсберг, сухощавый невысокий старик, уже тогда страдал сильной одышкой и какой-то болезнью в роде рака, которая вскоре и свела его в могилу. Раз в день, в определенные часы, он обходил обыкновенно все этажи библиотеки, и скрип его шагов был всегда слышен за несколько комнат; страха он никому не внушал, но всегда был несколько официален в своей неизменной строгой визитке; слушались его в библиотеке беспрекословно.

Очутившись перед начальством, я все еще продолжал недоумевать, зачем я мог понадобиться, но вдруг увидел на столе два больших фолианта, на корешке которых было вытеснено «Provincia Arabia». Заметив, куда устремлен мой взгляд, Крейсберг спросил: «Вы хотели их взять на дом?» Мне, конечно, ничего подобного и в голову не приходило, я просто предполагал пересмотреть книгу в читальном зале и теперь от неожиданности пробормотал что-то невнятное. Вероятно Крейсберг меня не понял, потому что сказал: «Студентам не выдается; скажите, чтобы записали на мое имя и берите». Так по одному взгляду он почему-то решил, что мне можно доверить, и я несколько недель, не торопясь, изучал дома роскошное и редкое издание.

Заниматься в библиотеке мне все же приходилось, как и другим студентам, в студенческом читальном зале, помещавшемся во втором этаже окнами во двор. Там было спокойно, особенно по вечерам; студентов, работавших за столами, было мало; большинство приходило только получить или сдать книги. Там я собирал материалы и для своего «зачетного» и «медального» сочинения в 1904—1905 году, впервые погрузившись в подавлявших меня своим количеством арабских историков и географов, конечно, еще в печатных изданиях. Здесь с моими требованиями не всегда уже могли справиться младшие библиотекари, орудовавшие у знаменитых «студенческих окон».

В затруднительных случаях откуда-то из недр извлекался один из «старших библиотекарей» С. В. Ларионов, фигура в своем роде замечательная. Восточникам он был хорошо известен, так как считался в библиотеке основным авторитетом по восточным каталогам и знал восточные языки; его рукой были написаны почти все каталожные карточки на восточные издания. На студентов он производил довольно странное впечатление. Через много лет я несколько познакомился с его биографией — одного из тех неудачников в истории нашего востоковедения, которые тогда попадались не только в библиотеках, но и в Государственном контроле или акцизе. Всегда слегка растерянный, очень застенчивый и мало разговорчивый, он жил где-то далеко, за городом, кажется в Лигове, откуда каждый день приезжал на службу. Среди сотоварищей он, повидимому, не имел особых приятелей. Когда-то, в давние времена, он очень хорошо кончил Лазаревский институт восточных языков в Москве и предназначался для занятия кафедры персидского языка. Потом он был послан за границу в Париж, где усердно занимался в Школе живых восточных языков едва ли не всеми преподававшимися там языками, вплоть до эфиопского. Он успешно защитил даже французскую диссертацию из области персидской литературы на степень *élève diplômé*; она была опубликована в «Journal Asiatique», но оказалась как будто единственным печатным его произведением. Отчего оборвалась его научная карьера по возвращении в Россию, отчего всю жизнь он провел незаметным, всегда стремив-

шимся ступешаться университетским библиотекарем, мне так и осталось неизвестным. О прошлом он никогда не говорил, на все вопросы о загранице всегда отмалчивался, но при редких посещениях библиотеки иностранцами объяснялся по-французски без труда, хотя его обычная застенчивость в таких случаях повышалась до невероятных пределов. В библиотеке он работал, не покладая рук, но всегда только над какими-нибудь карточками или инвентарями; писал он карточки и для составлявшейся во время моего пребывания на востоке библиотеки Семинария имени В. Р. Розена. Прожил он долго; изредка в университете даже отмечались какие-то юбилейные даты его службы. Во время торжественных заседаний по этому поводу жалко было смотреть на его растерянно смущенную фигуру. И после революции он продолжал работать в библиотеке, среди третьего поколения библиотекарей.

Труженик незаметный и немного странный, во времена моего студенчества единственно он решал библиографические недоумения относительно восточных изданий, а позже, когда я познакомился с рукописями университетской библиотеки, я опять обнаружил карточки, написанные его рукой.

Переход мой из студенческого читального зала в профессорский, расположенный в том же этаже, но окнами в сад, рядом с комнатой для выдачи книг, где находились «студенческие окна», произошел в январе 1906 года не без некоторого курьеза.

Государственные экзамены я сдал в декабре 1905 года; В. Р. Розен мне говорил, что мое оставление при университете решено и я буду зачислен с 1 января. Однако официальное постановление об этом должно было состояться на заседании факультета только в середине января. С первого моего появления в библиотеке 2 января возник формальный вопрос, по какой карточке я должен получать книги — студенческой или профессорской, как все оставленные. Крейсберг был тогда уже безнадежно болен и его заменял старший библиотекарь М. И. Кудряшев, фигура тоже во многих отношениях замечательная; к нему мы еще студентами присмотрелись, так как он часто появлялся у «окон», помогая младшим библиотекарям в часы особого наплыва. Меня опять провели к директорскому столу, за которым теперь помещалась маленькая фигура М. И. Кудряшева. Оглядев меня поверх свисавшего пенсне, он обычным густым басом строго спросил: «Вы кто? Студент?» — «Нет, — ответил я, — я только что в декабре кончил экзамены». «Кто же вы? Значит оставленный?» И на это я, несколько смущенный, должен был ответить отрицательно, разъяснив, что мое «оставление» повидимому, решено, но заседания факультета еще не было. На минуту задумавшись, но поспешному строго М. И. Кудряшев резюмировал краткий разговор: «Значит, вы никто! Берите книги на мое имя». Так просто формальные препятствия были преодолены, и я водворился в профессорском читальном зале, несколько не страдая от того, что

я «никто». Через какой-нибудь месяц мое «оставление» было уже утверждено министерством.

Началась вторая стадия занятий в библиотеке. Теперь я мог сам рыться в каталогах, мог ходить по всему помещению и сам доставать книги в неограниченном количестве. Часто приходилось мне спускаться вниз в восточный отдел. Постепенно я приобрел расположение «оптимиста» Ивана, когда он увидел, что я не только готовлюсь к магистерскому экзамену, но и думаю о диссертации.

Начавшиеся занятия с В. Р. Розеном заставили меня обложиться арабскими национальными словарями: и 10-томный «Тадж аль-арус» (Корона невесты) и 20-томный «Лисан аль-араб» (Язык арабов) теперь всегда находились у меня под руками. Для последнего Иван даже достал откуда-то особую этажерку на колесиках, когда увидел, что на столе не хватает места для груды громоздившихся книг. Трудно было мне на первых порах справиться с этими фолиантами: чуть не пять дней иногда уходило на то, чтобы подготовить сколько-нибудь удовлетворительно хоть двадцать стихов для очередного понедельника у Розена. А книги, такие теперь близкие, влекли и в другие стороны: по молодости мне хотелось перечитать все, относящееся к арабистике, в специальных журналах со времени их основания. С жадностью я просматривал и прочитывал десятки томов всяких периодических изданий, полностью представленных тогда в библиотеке. Скоро я увидел, что со всей массой мне не справиться, и стал ограничиваться систематическим изучением только работ по арабской поэзии, а все прочее заносил в свою разрастающуюся библиографию. Я просиживал целые дни в библиотеке, не только утром, но и вечером, когда не было занятий у Розена. Теперь все библиотекари присмотрелись ко мне, я сам знал всех и как-то незаметно превратился в неотъемлемую часть библиотеки, связанную со всеми ее интересами.

После смерти А. Р. Крейсберга директором стал, естественно, М. И. Кудряшев, его долгодетный помощник и выученик по библиотечной части, начавший эру русских директоров. С первого взгляда он производил немного комичное впечатление: маленького роста с большой головой, украшенной довольно небрежной шевелюрой, постоянно ловивший неизменно падавшее пенсне на широком шнурке. Он говорил всегда серьезно низким басом, но в глазах часто светился огонек природного юмора и трудно было понять, не напускает ли он на себя серьезность. Человек добрый и мягкий, он все же сумел поддержать в библиотеке порядок, по заветам Крейсберга и Залемана. Старый холостяк, совсем одинокий, он не знал других привязанностей, кроме библиотеки. Еще задолго до того, как понадобились ночные дежурства, он часто оставался в помещении, на всю ночь, проводя ее не раздеваясь в третьем этаже на стоявшей в уголку среди шкафов маленькой кушетке, которая и годилась кажется только для его роста. В

такие вечера разрешалось мне заниматься в библиотеке сколько угодно, так как выпускал меня и запирал дверь сам М. И. Кудряшев, оставаясь до утра. Сколько мы переговорили с ним по ночам на всякие темы и о библиотеке и о науке и самых разнообразных сюжетах, особенно впоследствии, в годы разрухи, когда от холода и голода, казалось, вся жизнь начала замирать.

В науке, как и С. В. Ларионов, он был неудачник. Один из близких учеников создателя исторической поэтики А. Н. Веселовского, он в студенческие годы дал ряд лучших изданий читанных им курсов, в молодости перевел размером подлинника «Песнь о Нибелунгах» — большой и серьезный труд, не столько талантливый, сколько добросовестный, по заслугам отмеченный премией Академии Наук. Библиотека рано засосала М. И. Кудряшева и к своей специальности он больше не возвращался; может быть и страсть к вину сделала свое дело, хоть надо сказать, что сильнее она замечалась до назначения его директором.

Его преемником, правда не надолго, стал очень хороший библиотекарь, совершенно непригодный к роли администратора, И. П. Мурзин. Он только курса на три был старше меня по университету, и я хорошо помню его студентом немногочленного классического отделения историко-филологического факультета. Товарищами его были составившие себе впоследствии солидное имя в науке историк древнего мира поляк К. В. Хилинский и знаток греческой литературы И. И. Толстой. И. П. Мурзин как-то мало менялся, если не считать, что вместо серой студенческой тужурки на нем появился достаточно неуклюжий и изношенный штатский костюм. И смолоду он выглядел старообразным: маленький, мешковатый, всегда с растрепанными волосами, очень близорукий, в библиотеке, куда он поступил сразу же по окончании университетского курса, он производил впечатление какого-то гнома. Иногда, спеша, он пускался бежать по библиотечным комнатам вприпрыжку. Знаящие его не удивлялись, но студенты в длинном университетском коридоре с недоумением останавливались при этом странном поведении И. П. Мурзина. Закончив работу в университете, он отправлялся на вечернюю службу в библиотеку Географического общества, где скоро занял место заведующего. В специальной, сравнительно небольшой библиотеке со штатом служащих в два-три человека, он был вполне на месте и его очень ценил председатель общества, известный географ Ю. М. Шокальский. Очутившись директором университетской библиотеки, да еще вдобавок в очень трудные годы, он точно растерялся и не мог удержать твердой рукой довольно громоздкой машины. Служащие его по-своему любили, но всегда смотрели на него с какой-то усмешкой; никаким авторитетом он не пользовался ни в библиотеке, ни вне ее. Он и сам чувствовал это и при первой возможности постарался отказаться от мало подходящего для него поста и опять стал незаметным, но необходимым библиотекарем и в университете и в Обществе..

Так он и завершил свою жизнь в 1939 году. Вне библиотеки его трудно было бы представить, да и сам он не мог бы жить без нее. Смолоду его еще обуревали разные мечтания: то он хотел идти в священники, то задумывал стать сельским учителем. Но все это были мечтания в стиле чеховских героев и, конечно, никуда из библиотеки он бы не ушел, даже при возможности это сделать. Научные порывы его не тревожили, но вынесенной из университета латыни он не позабыл: его изредка приглашали для преподавания ее медикам и ботаникам. При случае он мог составить латинский адрес на какой-нибудь юбилей или побеседовать по-латыни, чаще всего с профессором-классиком А. И. Маленным. Впрочем, и в самой библиотеке у него находился собеседник в лице Бронислава Игнатьевича Эпимаха-Шипилло, последнего «старшего библиотекаря», которого я помню со студенческих лет.

Эпимах-Шипилло представлял фигуру, не менее замечательную и, в противоположность другим, по-своему разностороннюю. Маленький, толстенький, весь какой-то кругленький, аккуратно подстриженный бобриком, не в пример прочим он всегда был чисто одет, даже с некоторой претензией на изящество, свойственной иногда старым холостякам. О нем я слышал еще гимназистом, так как он приезжал изредка работать в Вильну в Публичную библиотеку и Архив, главным образом по истории Западного края. Первую часть его фамилии «Эпимах» я принимал тогда за имя и немало дивился этому странному сочетанию. Все студенты, желавшие заниматься в университетской библиотеке, прежде всего попадали к нему: он сидел за столом у самого входа и на его обязанности лежало выписывать именные карточки на право получения книг. Мы всегда приходили в оцепенение от медлительности и аккуратности, с которой он это проделывал, правда с неподражаемым каллиграфическим искусством, особенно в хитроумных росчерках подписи его необычайной фамилии. Будучи по образованию очень основательным филологом-классиком, он преподавал по-латыни греческий язык в Римско-католической духовной академии, помещавшейся тогда на первой линии Васильевского Острова в доме, когда-то принадлежавшем Российской Академии. Потом я узнал, что он считался знатоком и других, иногда совсем необычных областей, ведя занятия между прочим, чуть ли не по истории церковных облачений. С одной стороны его деятельности я познакомился довольно близко, хотя он старался по возможности не распространять о ней сведений, по вполне понятным для того времени соображениям: он был видным деятелем белорусского литературного возрождения. Великолепно зная белорусский язык, и в живой речи и в старых памятниках, сам он мало выступал в печати, но всячески поддерживал белорусское издательство и попадавших в Петербург белоруссов. Знаменитый впоследствии поэт Янка Купала в годы учения частенько проводил ночи на сундучке в передней его крохотной квартиры. Не

один Янка Купала многим был обязан мало кому известному с этой стороны библиотекарю университета. Таким же энтузиастом белорусского движения был его брат, не то акцизный, не то контрольный чиновник; вместе они ставили любительские спектакли на белорусском языке, что для начала XX века было большой и смелой новостью.

Студентами нам приходилось иметь дело не столько со старшими библиотекарями, сколько с младшими, выдававшими книги у «окон». Это была уже особая, довольно пестрая группа лиц, обыкновенно без высшего образования, чаще всего детей мелких библиотечных или канцелярских служащих и служителей. Среди них в старшем поколении мне особенно памяты две фигуры: Иван Кириллович Садков и его неизменный приятель Хребтов. Мы, студенты, знали их и по другой еще работе. Служба в университетской библиотеке оплачивалась очень плохо и только одинокие люди, как М. И. Кудряшев, могли просуществовать без сторонних заработков. Оба приятеля, закончив трудовой день здесь, стремились на Петроградскую сторону в Зоологический сад и там в двух противоположных кассах у ворот до поздней ночи продавали входные билеты. Зоологический сад тогда был известен не столько зверями, сколько рестораном, и некоторые студенты, направлявшиеся туда, могли встретиться со знакомыми библиотекарями в необычной обстановке. Хребтов был старше и мрачнее. Когда-то он работал в библиотеке Учебного отделения восточных языков Министерства иностранных дел и помнил не мало анекдотов из дореформенной жизни этого учебного учреждения.

Садков выглядел всегда очень молодо и, можно сказать, не менялся на наших глазах, хотя скоро среди младших библиотекарей появились два его сына. Всегда выдержанный, корректный, хорошо одетый, как библиотекарь он производил впечатление очень культурного человека. Предметом его постоянного огорчения было то, что он не получил высшего образования, отсутствие которого закрывало ему доступ к служебному продвижению. С основанием Пермского университета он был приглашен организовать его библиотеку и по всеобщим отзывам справился с этой задачей очень хорошо.

Попадались среди младших библиотекарей иногда и чудачки. В первом этаже за писанием каких-то бесконечных карточек сидел «доктор Фридолин». Познакомившись со мной к тому времени, когда и я из профессорского зала перебрался вниз, он ни о чем не мог говорить, кроме антропологии и антропометрии; в измерении черепов, которым усиленно занимался, он видел кажется единственную основу вообще всех наук.

Мое переселение вниз, где я слышал разговор двух служителей, произошло как-то незаметно и молча было санкционировано не только Иваном, но и всей старшей администрацией. Это было уже в ту пору, когда я впервые начинал чувствовать сердце восточного отдела библиотеки — его рукописи, которые стояли в

шкафах здесь же, в конце библиотечного помещения, противоположном тому, где сидел «доктор Фридолин». «Мой» стол помещался приблизительно посередине между ними и мне были одинаково близки и восточный отдел с его печатными изданиями и шкафы с рукописями, которые и здесь все сильнее зачаровывали меня.

Мне теперь трудно иногда различить, что ярче встает в моих воспоминаниях — люди или книги, которые показывали мне давно отшедших людей, вырисовывавшихся как живые.

Здесь я впервые открыл и буквально почувствовал далекого предшественника по кафедре шейха Тантави. Даже его египетский предок XVI века шейх аш-Шарани осветился для меня ярким и точно домашним светом, когда я неожиданно наткнулся на его уникальную биографию. Случайно забытые Розеном в рукописи листки с его заметками говорили о никому неведомой его работе, и как я был счастлив продолжить эту работу, по наброскам пытаюсь восстановить ход его мыслей! Увлечкая меня своей загадочностью магрибинская антология с оторванным концом, невидимыми нитями связывала меня не только со старыми арабами в Испании, но и с современными испанскими арабистами. И в холодные годы после разрухи, читая лекции среди стеллажей с книгами в третьем этаже библиотеки, дружелюбно приютившей маленькую кучку арабистов, так как здесь температура была все же выше нуля, я особенно ощущал эту вековую связь между людьми и книгами, когда рукопись нельзя отделить от живого человека.

Пусть же и университетские манускрипты найдут отражение на страницах моих воспоминаний: ведь они тоже властно вошли в мою жизнь и часто волновали ее сильнее внешних событий, первая встреча с ними иногда врезывалась в память сильнее навсегда запомнившихся встреч с людьми.

## *2. Впервые оппонентом на диссертации*

(1914)

Рукописи сближают людей. Знакомство с ними, как проникновение в природу, как восприятие искусства расширяет горизонт человека, облагораживает всю его жизнь, делает его участником великого движения человечества на пути культуры. Рукописи, как природа и искусство, должны быть достоянием всех чувствующих их людей и открыты всем ученым: те, кому выпало на долю временно, в пределах человеческой жизни, быть их владельцами или хранителями, должны не забывать этого и не превращаться в скупых рыцарей. Грустно видеть, как рукописи иногда оказываются яблоком раздора, как они встают преградой между людьми, а иногда становятся даже орудием преследования. И здесь на долю ученого нередко выпадают неожиданные испытания, но при доброй воле их можно преодолеть, памятуя, что мы в отдельности только «гости на земле», а наука вечна и надо

думать не о нас самих, а о ее движении вперед, для которого не всегда важно, кем именно внесена доля усилия в это движение. Мне памятен в молодости один случай с рукописью, который легко мог вызвать трещину в отношениях между двумя учеными — учителем и учеником; и теперь через тридцать лет я с удовлетворением чувствую, что оба они сумели тогда остаться на высоте науки и человечности, как ее понимали.

В серенький петербургский денек в начале сентября 1901 года студенты первого курса факультета восточных языков ждали первой лекции по арабскому языку. Зрелище на факультете представлялось необычное. Хотя для лекции была отведена самая вместительная шестая аудитория, но она была переполнена и на ее скамейках не хватало места. В этом году на один арабско-персидско-турецко-татарский разряд поступило 56 человек — число почти небывалое. Элементарный курс арабского языка являлся обязательным, кроме того, для некоторых других разрядов и поэтому аудитория, где часто занимались два-три человека, теперь гудела, как улей; были заняты не только парты, но и все подоконники, а кое-кто стоял и в проходе. Наиболее предприимчивые отправились делегацией к факультетскому служителю Савелию, шипкинскому герою, который всегда в одной и той же позе стоял у печки в так называемом «предбаннике» — проходной комнате, выходящей на площадку лестницы, с одной стороны, в коридорчик с аудиториями, с другой; в этой комнате студенты проводили перемены между лекциями или свободные часы.

На просьбу поставить еще парту Савелий только усмехнулся и сказал: «Подождите, через неделю совсем свободно будет!» Он оказался прав: уже на следующей лекции стало просторнее, а на второй курс из всей этой массы перешло 24 человека, кончило же факультет только 12, считая и «стариков», приставших к нам по дороге. Такова была обычная картина на факультете восточных языков, но в этом не был повинен преподаватель, которого мы теперь ждали, зная только, что его зовут приват-доцент А. Э. Шмидт.

Вошел совсем молодой человек лет тридцати, в хорошем штатском сюртуке, обычном для того времени; с первого взгляда он поразил нас своеобразной одухотворенной красотой и особенно незабываемыми лучистыми глазами. Несколько смутившись, очевидно при виде переполненной аудитории, он прошел на кафедру и начал, поминутно краснея, лекцию с введением в грамматику арабского языка. Все было ясно и понятно; мы сразу забыли про удручившую нас неудачу с первым занятием по восточной каллиграфии, где лектор — крымский татарин и действительно известный каллиграф, как я узнал впоследствии, что-то писал перед нами на доске, но никак не мог объяснить по-русски, для чего это нужно и что нам самим следует делать. Забыл я и про свою безуспешную попытку в гимназические годы справиться с арабским языком по фундаментальной двухтомной

грамматике Сильвестра де Саси, напечатанной еще в начале XIX века. С легкостью постигая теперь тайны арабского шрифта и страшных для многих глагольных «пород», я не подозревал, что этот мягкий руководитель, «с глазами испуганной газели», по определению одного из моих товарищей, постоянно продолжавший смущаться больше, чем мы, студенты, станет со временем одним из моих ближайших друзей и наша взаимная симпатия ничем не омрачится до его смерти в 1939 году.

На втором курсе А. Э. Шмидт занятий не вел и мы расстались с ним почти на год, так как на факультете встречали его очень редко. Только одно впечатление, связанное с ним, за этот год промелькнуло ярко: 1 декабря 1902 года защищал докторскую диссертацию Н. А. Медников. Оппонентами выступали В. Р. Розен и А. Э. Шмидт. Последний в ходе своих замечаний упомянул про издание какого-то арабского биографического словаря. Нас особенно поразило, что Розен, восторженно спросив, где он напечатан. Это высоко подняло в наших наивных глазах Шмидта, который, оказывается, иногда мог знать то, что оставалось неизвестным самому Розену; впоследствии мы почувствовали не малую гордость, услышав как-то, что он был учеником не только Розена, но и знаменитого будапештского исламоведа Гольдциера.

Встретились мы со Шмидтом только через год уже на третьем курсе, где он вел занятия по мусульманскому праву. Мы были поражены происшедшей в нем переменой: он сильно поседел, ходил с палкой, выглядел каким-то измученным. Впоследствии я узнал, что этот год был особенно тяжелым для него и в связи с семейным горем, и его болезнью, и необходимостью нести нервную и утомительную службу, мало его удовлетворявшую. Приват-доценту далеко не обеспечивала даже скромных потребностей семейной человека, и А. Э. Шмидту приходилось загружать себя сторонней работой. Мы с изумлением узнавали, что он состоит инспектором Александровского лицея, а после ухода оттуда секретарем редакции «С.-Петербургских Ведомостей», которые издавал князь Э. Ухтомский, известный в мое время путешественник, интересовавшийся культурой Дальнего Востока. Все это плохо вязалось с исламоведением и арабской литературой, не оставляло возможности для работы над ними, вызывало состояние большой депрессии у человека, стремившегося к широкому научному творчеству, для которого у него были богатые данные. Только со временем нам стало понятно, почему Шмидт относится точно с каким-то испугом к выходившим за программу научным вопросам с нашей стороны: они бередили его незаживающие раны, ответ требовал иногда каких-нибудь справок, а даже для этого у него времени не было. На третьем курсе он вообще редко приходил на лекции, но при встрече относился ко мне с неизменной доброжелательностью.

Летом того года на каникулах я как раз прочитал полностью

Коран, пользуясь, конечно, неизменным словарем Гиргаса и переводом Саблукова. Слух об этом дошел до него, и осенью он шуточно приветствовал меня со званием «хафиза». На четвертом курсе наши редкие встречи в университете опять прекратились, так как мы перешли по арабистике к Розену. Меня все это время очень влекло к Шмидту, в котором я как-то инстинктивно чувствовал и крупный научный талант и большую душевность, но стеснялся к нему обращаться, замечая, что это иногда точно вызывало в нем боль и стремление уйти в свою раковину. Знали мы, что он давно готовит большую работу о египетском учёном суфии XVI века аш-Шарани, которая должна стать его диссертацией, но и несколькими годами позже, когда я по окончании университета продолжал заниматься у Розена, на мои любопытные вопросы, не предстоит ли скоро диссертация Шмидта, он только махал с огорчением рукой и приговаривал: «Где там! Пропадает Александр Эдуардович! Говорил я ему, что не надо так рано жениться. А ведь какой талантливый человек!» И, оживившись, Розен начинал рассказывать про отзывы своего приятеля Гольдциера, который считал Шмидта одним из лучших учеников, приезжавших к нему когда-либо из Европы или Америки. Мне делалось еще более жалко бедного Александра Эдуардовича. По мере своих слабых сил я пытался как-нибудь одобрить его, ближе вовлечь в жизнь научных интересов. Иногда мне казалось, что это может наладиться, но смерть Розена для нас обоих явилась жестоким ударом. Будучи на Востоке, я почувствовал по его письмам, что он находится опять во власти тяжелой депрессии; он даже отказался от доклада о Розене на заседании, посвященном ему. А он мог бы его сделать, конечно, лучше всех арабистов.

Во время скитаний по Востоку я всячески старался оживить его, выискивал в Каире какие-нибудь мелкие материалы о его любимце аш-Шарани, лишь бы только он не бросал работы над ним. Вернувшись в Петербург, когда разница лет стала меньше сказываться, а совместная работа на кафедре окончательно нас сблизила, я настоял, чтобы он начал наконец печатать диссертацию, преодолев ставшую уже болезненной неуверенность в себе и своих силах. Работа шла у нас параллельно: одновременно печаталась и моя диссертация о поэте аль-Вава. Задержек было много, и дело двигалось медленно. Шмидт часто колебался и перепечатывал иногда целые готовые листы; у меня арабский текст набирался в Голландии в известной всем ориенталистам типографии Брилля и самый объем работы требовал изрядного срока. Я читал все корректуры исследования Шмидта, изредка воюя с ним из-за каких-нибудь технических вопросов и шуточно грозясь, что пожалуюсь на это, когда буду оппонентом на диспуте. Вспыхнувшая первая мировая война работы не прервала и, наконец, в начале осени 1914 года обе книги были готовы. Я твердо решил, что свою диссертацию представлю официально

на факультет только тогда, когда работа А. Э. Шмидта пройдет все формальные инстанции.

Диспут был назначен на 19 октября 1914 года. Готовился я к нему очень серьезно. Область исламоведения стояла далеко от моей прямой специальности — арабской литературы, но я по молодости хотел не ударить лицом в грязь и показать публике, которая в довольно значительном количестве собиралась тогда на диспуты, все значение работы в нашей науке. Не скрою, что некоторые коллеги по факультету, плохо знавшие глубину наших дружеских отношений и наших взглядов на науку, ожидали своего рода спектакля, который может получиться от того, что два молодых ученых — учитель и ученик должны быть оппонентами друг у друга и станут топить один другого. В этом им предстояло разочароваться: я с улыбкой вспоминал рассказы Розена о том, как смолodu его соединила нерушимая дружба с его учителем Гиргасом, а представители других кафедр, в частности турецкой, вечно враждовавшие между собой, все ожидали, когда же и здесь разразится буря.

Книгу я, конечно, знал хорошо, прочитав корректуры основной части; для меня не подлежало сомнению, что она представляет исключительное явление в нашей науке и крупный шаг в мировой. Все же, относясь, быть может, с преувеличенной требовательностью к своей задаче, я решил теперь проверить ее по всем упоминаемым источникам. И здесь все оказалось благополучно. Конечно, иногда обнаруживались какие-нибудь мелочи, встречались непоследовательности, объяснявшиеся долгим сроком работы над темой и продолжительностью печатания, но источники были использованы полностью и каких-нибудь пробелов я не обнаруживал. Так шло до середины сентября, когда до диспута оставался приблизительно месяц.

Занимаясь подготовкой к диссертации А. Э. Шмидта, я одновременно продолжал другую, очень увлекавшую меня тогда работу. Мечтая о составлении систематического каталога арабских рукописей университетской библиотеки, я исподволь выбирал по индексу, когда-то напечатанному Залеманом и Розеном, те сочинения, которые меня интересовали в первую очередь. Раз вечером, отдыхая от трудного дня, я опять погрузился в это занятие. Вдруг рука, начавшая механически выписывать незнакомое заглавие, вздрогнула точно от электрического тока. У меня сохранился листок, где неожиданный росчерк от оборванного слова невольно пробежал по всей странице. В индексе отчетливо стояло неведомое мне название «Памятка людям ума о доблестях шейха аш-Шарания Абд аль-Ваххаба». Такого источника в диссертации А. Э. Шмидта не фигурировало. Что же это значит? Утром у знакомых светлосяневых шкафов с восточными рукописями университетской библиотеки я разгадывал эту загадку. Недоразумения никакого не было и все быстро выяснилось. В коллекции профессора Шейха Тантави, перешедшей в университет-

скую библиотеку, действительно сохранилось довольно обширное «житие» аш-Шарания, его предков и потомков до XVII века, составленное неким аль-Малиджием, который был в Каире хранителем мечети имени аш-Шарания около 1700 года и хорошо знал всю связанную с родом традицию. Сама по себе рукопись, писанная в 1723 году, не представляла чего-либо выдающегося, но она открывала единственную самостоятельную биографию этого суфия, с полным списком его сочинений, с масеой любопытных деталей вообще для истории XVI—XVII веков. Значение ее для работы А. Э. Шмидта сразу мне стало очевидно. Но каким же образом она могла от него ускользнуть? Для меня это продолжало казаться загадкой, особенно в одной части. Рукопись представляла несомненно «уникум»: об этом говорило отсутствие упоминания автора и сочинения в известном арабистам своде Брокельмана, который почти не воспользовался индексом рукописей университетской библиотеки. Этим, вероятно, и объяснялось, что А. Э. Шмидт не обратил на нее внимания. В дальнейшем сыграла роль уже ирония судьбы, часто любящей подшучивать над учеными. Автор, собиравший систематически материалы для долголетнего труда и в Берлине, и в Лейпциге, и в Лейдене, не догадался пересмотреть бывший под руками индекс рукописей университетской библиотеки в Петербурге, где он постоянно работал, где находился основной оригинал, по которому он напечатал в приложении одну из работ аш-Шарания. Судьба не пощадила своей иронией и нашего учителя Розена. Каким образом он, в течение многих лет беседуя со своим учеником об аш-Шарании, не вспомнил его биографии, которую сам когда-то внес в индекс, это осталось для меня навсегда одной из загадок в истории нашей науки, как видно нередко зависящей от случайности.

Ошеломившая меня на несколько дней находка требовала, однако, быстрого решения ввиду близкого диспута. Зная характер А. Э. Шмидта, я чувствовал, что сказать о ней прямо — значит вызвать в нем приступ отчаяния и может быть навсегда разрушить только что наладившееся его возвращение к научной работе. Утаить открытие до какого-нибудь срока после диссертации не позволяла мне научная совесть. Выход все же нашлся. Мне было ясно, что напечатанная работа представляет несомненное приобретение для науки и, конечно, более чем заслуживает исковой степени магистра. Случайно обнаруженный источник может быть исследован современем и, как мне казалось, принципиальных выводов работы, основанных на других материалах, не изменяет. Сообщить о нем автору я должен, конечно, до диссертации.

Найдя такое решение, я быстро успокоился и только по молодости, прежде чем открыть секрет А. Э. Шмидту, позволил себе маленькое озорство. Встречаясь тогда с ним чуть ли не каждый день, я стал поддразнивать вопросами, тему для которых доставляла мне университетская рукопись. Сколько было жен у аш-

Шарания, какого он был роста, писал ли он по таким-то вопросам? Бедный Шмидт, не имевший на это ответа по известным ему источникам, недоумевал и все более заинтриговывался, откуда я набираю материал. Не желая долго его мучить, через неделю я открыл ему одному свою находку. Реакция оказалась именно такой, как я опасался. Под первым впечатлением он хотел взять свою диссертацию обратно и отложить получение степени. Большого труда мне стоило убедить его не делать этого и предоставить все своему течению.

Диспут чуть-чуть не пришлось отложить по другому поводу: как со мной бывало нередко в важных случаях жизни, за неделю до него я заболел — температура поднялась чуть не до 40°, и я лежал пластом. Шмидт стал опять говорить, что очевидно судьба не хочет, чтобы он защитил диссертацию во-время. По счастью домашний врач, которому я предъявил ультиматум поставить меня на ноги, хотя бы на один день, дал какое-то, по его выражению «конское» средство, и я прямо с дивана отправился на диссертацию, как полагалось тогда, во фраке, хотя и взятом напрокат, но с каким-то странным ощущением не своего голоса, который я сам слушал, точно говорил кто-то чужой.

Все прошло благополучно. Свою обычную речь я начал арабским стихом: «Учил я его стрелять каждый день, а когда рука у него окрепла, он выстрелил в меня». Александр Эдуардович, тоже во фраке, смотрел на меня с кафедры, добродушно улыбаясь: единственно он среди всех присутствующих знал, к чему я клоню и о чем будет идти речь. Я не скрыл своей находки, но осветил ее так, как мне казалось правильным для настоящего случая с выделением основных достоинств работы. Любопытные коллеги остались без ожидаемого ими «спектакля», и диссертация закончилась мирно.

Не все были согласны с моей точкой зрения и не все ее понимали. Одна присутствовавшая на диспуте дама, мало знакомая с обычной процедурой, очень обиделась за нападки на А. Э. Шмидта, как ей показалось, и вслух выражала свое негодование. Александру Эдуардовичу стоило не малого труда впоследствии несколько ее успокоить, объяснив сущность дела. Были и более серьезные недовольства. На другой день в университетской галлерее во дворе я встретил своего уважаемого учителя профессора Б. А. Тураева. Он возмущался, как факультет мог пропустить диссертацию, для которой остался неизвестным один из основных источников, и негодовал на меня. Я постарался изложить свою точку зрения, но, кажется, без особого успеха. Я никогда не был сторонником принципа *fiat justitia, reat mundus* (да свершится справедливость, пусть погибнет мир), потому что, если мир погибнет, то и справедливость нигде будет проявлять. Наука движется живыми людьми и, если не думать о них, то и сама наука может остановиться. Поэтому и теперь, через тридцать лет, мне все-таки кажется, что мы с Шмидтом

были правы, и это показала вся наша дальнейшая жизнь. Недаром тогда, когда Александр Эдуардович приезжал в Ленинград из Ташкента, куда он переехал в 1920 году, мы и в 30-х годах часто любили вспоминать, как я нашел рукопись биографии аш-Шарания, как я его поддразнивал своими вопросами, вспоминали и наш маленький заговор, когда я был впервые оппонентом на диссертации, и разочарование некоторых коллег, которые все ждали, кто из нас начнет говорить другому неприятности.

История с находкой рукописи имела свое продолжение. На этот раз судьба несколько поиронизировала надо мной, «чтобы не зазнавался», как любил говорить один старый провинциальный ученый. Заканчивая свою статью об университетской рукописи в ноябре 1914 года, я выразил надежду, что второй экземпляр вероятнее всего найдется на родине аш-Шарания в Египте. Однако он обнаружился гораздо скорее и гораздо ближе, чем я думал. Как раз в эти годы у меня был в университете один близкий, очень своеобразный ученик, болгарин, сын кузнеца, с неизбежной фамилией Шишманова. Он отличался большим и тонким литературным вкусом, знал массу языков и в это время очень увлекался моим любимцем — поэтом-философом Абу-ль-Аля, переведя почти полностью цикл его поэм, посвященных «кольчугам». Многими своими увлечениями он заражал и меня: несколько позднее мы вместе перевели с шведского роман Вернера фон Хейденстама «Эндимион», в котором действие происходит в Дамаске. Когда летом 1914 года он уезжал к себе на родину, я посоветовал ему посмотреть, нет ли арабских рукописей в Софийской публичной библиотеке. Оказалось, что там в отделе под названием «Турската архива» существовала целая коллекция «Библиотека та на Пазвантоглу», связанная с именем известного болгарско-турецкого деятеля на рубеже нового времени. Основную массу ее составлял не столько турецкий архив, сколько именно арабские рукописи, в большинстве очень хорошей сохранности. Краткий каталог показавшихся ему наиболее интересными А. И. Шишманов мне и прислал. Велико было мое изумление, когда среди них я нашел еще один экземпляр биографии аш-Шарания, составленной аль-Малиджием. Таким образом, памятник, до сих пор не зарегистрированный ни в одном из европейских собраний, неизвестный даже на родине аш-Шарания в Египте, почти одновременно нашелся в двух славянских странах в очень хороших рукописях. Трудно объяснить все такие случайности в истории арабских манускриптов, но, вероятно, они будут повторяться еще долго, пока наша наука так мало разработана. А Болгария, совершенно неизученная с этой стороны, таит, вероятно, не мало неожиданных. Ведь до сих пор мы ничего не знаем о рукописи географии аль-Идриси где-то в Шумле, известие о которой как-то проскользнуло в одном географическом журнале. И это при том, что хорошие рукописи аль-Идриси во всем мире можно пересчитать едва ли не по пальцам одной руки.

### 3. От Каира до Волкова кладбища в Петербурге

(1916—1930)

Больше ста лет назад 22 августа 1840 года в «С.-Петербургских Ведомостях» появилась не совсем обычная статья. «Невский проспект» для петербуржцев того времени играл особую роль и всем, вероятно, была памятна недавняя повесть Гоголя с посвященным ему названием. Статья начиналась в приподнято-романтическом стиле звучными фразами: «Вы меня спрашиваете, кто этот красивый мужчина в восточном костюме, в белой чалме, с черной как смоль бородою, с живыми полными огня глазами и умным выражением лица, загорелого, — сейчас видно — не на нашем бледном солнце севера. Вы уже два раза встречали его, выступающего гордой поступью, по плитам светлой стороны Невского проспекта, и как непремный член Невского проспекта в хорошую погоду, тотчас его заметили, и непременно хотите знать, кто он». Автор открывает, что это Шейх Мухаммед Айяд ат-Тантави, только что приехавший «с берегов Нила» для занятия вакантной кафедры арабского языка в Институте восточных языков Министерства иностранных дел. «Теперь вы можете прекрасно выучиться говорить по-арабски и не выезжая из Петербурга», заканчивалась статья. Автором ее был молодой тогда ученик арабиста Сенковского П. Савельев, впоследствии известный археолог и нумизмат.

Едва ли многие из читателей «С.-Петербургских Ведомостей» со временем узнали, что через два десятка лет на «татарском» кладбище у Волковой деревни появилась новая могила с хорошим памятником, на котором была надпись на двух языках — арабском и русском. Русский текст гласил: «Ординарный профессор С.-Петербургского университета статский советник Шейх Мухамед Айяд Тантави. Скончался 27 октября 1861 года на 50-м году жизни». Здесь закончился дальний и необычный житейский путь, начавшийся за полвека до того в маленькой деревушке около Тантави в Египте. Каким-то экзотическим цветком промелькнула эта жизнь в старой России, и современникам невольно эта фигура представлялась в романтическом ореоле. Ноты романтики звучат и в статье «С.-Петербургских Ведомостей» и в рассказе одного ученика о том, что готовясь к переезду в Россию, Шейх «кунил в своем племени невольницу, послал ее для образования в Париж и потом на ней женился». Современники могли хорошо знать его облик по прекрасному литографированному портрету конца 1853 года известного художника Мартынова в альбоме деятелей современной науки. Он помогает нам понять то впечатление, о котором говорит статья «С.-Петербургских Ведомостей». На восточном одеянии оригинально выглядит орден Анны на шее, с которым изображен Шейх на портрете; он сам добродушно посмеялся над этим в своем двестицие:

«Поистине я видел чудо в Петербурге: там Шейх из мусульман прижимает к груди своей Анну».

Земляки рано потеряли Тантави из виду: даже в конце 80-х годов многие из них не знали, в живых он или нет.

Может быть и для нас, русских арабистов, эта экзотическая фигура предшественника навсегда осталась бы в смутных романтических очертаниях, если бы не его рукописи. Как бывает часто, рукописи сумели лучше современников показать человека. В университетской библиотеке все у тех же светлосеневых шкафов я впервые ощутил настоящего Тантави; я узнал, что наполняло его жизнь и в Каире и в Петербурге, над исписанными им страницами я понял, может быть никому неведомую, кроме этих листов, тяжелую трагедию последних лет его существования. Сперва как-то интуитивно привлекла меня эта одинокая в истории нашей науки фигура, и скоро я уже не мог оторваться мыслями от нее. Планомерные поиски добывали обыкновенно только маленькие камешки для мозаичной картины, но счастливые находки и неожиданные случайности часто ярким прожектором освещали предстоящий или пройденный путь, нередко заставляя вспоминать, что на ловца и зверь бежит. Как всегда, работа шла параллельно с другими занятиями, и понадобилось почти пятнадцать лет, чтобы я решился в небольшой книжке подвести итог тому, что мне удалось узнать про Шейха Тантави; и здесь для того, чтобы сказка скоро сказывалась, дело должно было делаться не торопливо.

В 1919 году предстоял столетний юбилей С.-Петербургского университета. Готовиться к нему начали заранее, еще до революции, и уже в 1916 году возникла мысль о составлении истории отдельных кафедр. У нас, арабистов, открывалась любопытная картина: первым профессором был француз Деманж (1819—1822), вторым — поляк Сенковский (1822—1847), известный барон Брамбеус, и третьим — араб, наш Шейх Тантави (1847—1861). Если о первом нечего было сказать, так как он не оставил никакого следа в науке, кроме неосновательно приписанной ему чести обучения Грибоедова персидскому языку, если о втором существовала большая литература, правда как о писателе, а не арабисте, то с Тантави я сразу наткнулся на ряд недоразумений в печатных материалах или просто отсутствие сколько-нибудь серьезных сведений. Надо было все строить сызнова, и я обратился к испытанному пути — к рукописям.

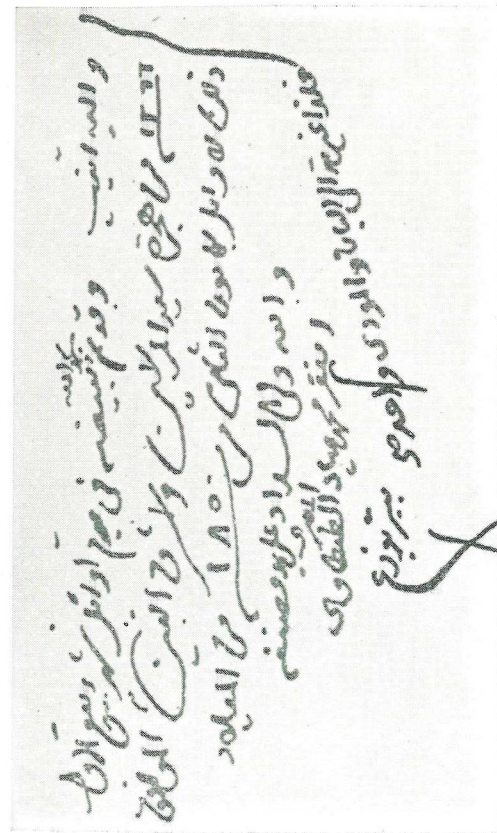
Мне было известно, что составленная им коллекция около полтора века томов перешла в университетскую библиотеку. Знал я, что там находится не мало любопытных памятников литературы, частью даже вошедших в обиход науки, но не они теперь интересовали меня. Мне надо было выяснить, не найдется ли среди них каких-либо материалов для биографии Тантави, для характеристики его научной и литературной деятельности. Надежда меня не обманула: в первых же рукописях мне стали по-

падаться никому неведомые сочинения самого Тантави, начиная с юношеских лет, переписанные им сочинения других авторов, рукописи с его пометками, поправками и приписками. Я решил, не торопясь, пересмотреть все полтора века томов, страница за страницей. Число это выросло еще более, когда я увидел, что на некоторых рукописях, находившихся в университетском собрании до Тантави, тоже попадаются его пометки. Работа была действительно мозаичной, очень медленной и кропотливой, но единственно она могла дать прочную базу и щедро наградить за потраченный труд не только внутренним удовлетворением, но и фактическими результатами. Передо мною постепенно, шаг за шагом, обрисовывался весь «круг» учения и чтения современников Тантави, его собственные интересы, далеко выходящие за пределы этого «круга», его первоначальные, робкие еще попытки сбора материалов, отвечающих на запросы европейских учеников и друзей. Приписки помогали установить последовательные этапы его жизни. Одни рукописи он приобретал еще питомцем, а затем и преподавателем аль-Азхара, высшей школы мусульманского мира в Каире, над другими проводил невольный досуг в длительном карантине Смирны или Стамбула во время путешествия в Россию, третьи переносили его мыслями на родину с далекой чужбины, где он кончил свою жизнь. Постепенно, дата за датой, строилась хронологическая канва его биографии и тусклый романтический облик начинал расцветиваться яркими красками жизни!

Новой эрой во всей моей работе оказался 1924 год. С пробуждением интереса к своей старине, про Тантави стали вспоминать его земляки. Заметки о нем как раз с этого года начали появляться и в Известиях Арабской академии в Дамаске и в каирских журналах. Я видел, что родина Тантави далеко не располагает тем материалом, который накопился у меня, и с радостью принял участие в арабской прессе, оживляя образ, одинаково близкий и для нас и для арабов. И здесь судьба опять свела меня с пашой Ахмедом Теймуром, библиофилом и ученым. Кругозор его был широк: он так же хорошо мог понимать и слепого поэта-философа XI века Абу-ль-Аля, которым мы вместе увлекались, как и своего земляка XIX века, который жил и умер среди русских где-то на севере. Он ценил мои усилия, и после его смерти я узнал от сына, что присланная мной фотография с портрета Тантави всегда стояла у него на столе. И Европа начала интересоваться оригинальным петербургским профессором. Редактор оправившегося после мировой войны известного международного издания «Энциклопедия ислама» в 1924 году попросил меня дать статью о Тантави. Суммируя с лаконичной краткостью результаты почти десятилетней работы, я отчетливо почувствовал, что теперь я должен написать о Тантави книгу. И как бы в награду за это решение тот же 1924 год принес мне радостное открытие.

Просматривая только что вышедшую книжку одного востоковедческого журнала, я наткнулся в нем на очередной список арабских рукописей в стамбульских библиотеках. Время от времени их публиковал один немецкий ученый, арабист-неудачник, которому не нашлось места в Германии, и пришлось бросить якорь в Стамбуле скромным учителем средней школы. С большой настойчивостью, самоотверженно, он урывал время, чтобы погружаться в море рукописных сокровищ, извлекая оттуда не мало перлов. И теперь, наряду со всякими классическими памятниками в мечети Риза паши в Румели Хисар, я вдруг увидел заглавие, которое заставило меня забыть про все остальное. Оно гласило: «Подарок смышленным с сообщениями про страну Россию Шейха Мухаммеда Айяда ат-Тантави, автограф 1266/1850 года, посвященный султану Абд аль-Меджиду». Никаких сведений о таком сочинении в моих материалах не было, а что оно собой представляет — об этом приходилось только догадываться. Скорее всего, думалось мне, это какой-нибудь ординарный географический очерк. Я все еще не совсем верил, что рукопись действительно автограф; я боялся, нет ли здесь какого-либо недоразумения. Но имя Тантави было названо и я не находил себе покоя. Терпенье мое подверглось, однако, очень длительному испытанию. Международные отношения только в 1927 году позволили мне получить копию с рукописи. Судя по почерку, она была снята турком, плохо знавшим арабский язык и не всегда удачно разбиравшим оригинал, особенно в мудреных русских названиях. Но сомнений в том, что сочинение принадлежит Тантави, не оставалось. С волнением я пробежал страницы и не мог оторваться от них, сразу почувствовав, что это — лучшее сочинение Шейха, к тому же такое близкое нам, так живо отражающее его наблюдательную, отзывчивую ко всем явлениям натуру, его острый глаз, его тонкий, добродушный юмор. Это была не простая география, как думалось мне по заглавию, вернее не только география. В своем сочинении Шейх обстоятельно описывал путешествие из Каира в Петербург, вспоминая и поездку на родину в 1844 году, подробно говорил о своих впечатлениях о России и русских за десятилетнее пребывание здесь, о своих поездках на каникулах и в Прибалтику и в Финляндию. Для земляков он детально излагал историю России в новое время и рисовал топографию Петербурга в его эпоху. Все это сопровождалось такими живыми и яркими черточками, которые и теперь бесценны для нас. Я радовался, что еще одно сочинение Тантави становится известным и науке и его соплеменникам. Однако едва я успел проштудировать основательно копию стамбульской рукописи, судьба готовила мне другую приятную неожиданность.

В начале осени 1928 года ко мне раз зашел мой ученик, молодой талантливый семитолог, рано унесенный тяжелым 1942-м годом. Всегда выдержанный и ровный, он нередко навещал меня по всяким научным вопросам, но теперь я сейчас же увидел, что



2. Автограф «Описание России» Шейха Тантави (IV, 3).

он пришел не спроста. Протянув мне с обычным сдержанным видом какую-то рукопись в простом картонном переплете, он пояснил: «Вот нашел у букиниста на Литейной, кажется какая-то география, может быть вам будет интересно». Раскрыв ее, я ахнул: на меня смотрел хорошо знакомый почерк Тантави конца 40-х годов. В волнении я быстро заглянул на последнюю страницу и ахнул вторично: у меня в руках был автограф того же «Описания России», автограф черновой с массой собственноручных поправок и дополнений автора. Конечно, мой молодой друг хорошо знал, какое драгоценное сокровище он мне принес, но ему не хотелось отказать себе в удовольствии посмотреть, как я буду на это реагировать. Взглянув на переплет, я сразу понял, откуда рукопись попала к случайному букинисту: там были вытеснены латинские буквы I. N. — инициалы Ириней Нофаля, араба из Триполи, преемника Тантави по преподаванию в Учебном отделении восточных языков Министерства иностранных дел. Его библиотека пошла прахом еще в начале XX века благодаря неудачным сыновьям, и жалкие обломки ее нередко выплывали в разное время в книжном море и Петербурга и Ленинграда.

Две обнаруженные рукописи лучшего сочинения Тантави давали теперь полную возможность хорошо издать и перевести его, но здесь обстоятельства оказались уже немилостивы: обоим моим ученикам, которые брались за это один после другого, не суждено было довести работу до конца. И русские, и арабы знают про «Описание России» до сих пор только по кратким статьям и арабскому содержанию.

Как бы в заключение работы над Тантави для меня осветился благодаря рукописям эпилог его жизни. По официальным документам я знал, что уже с сентября 1855 года он «страдал параличем нижних конечностей», но чем он заполнял последние пять-шесть лет, мне было трудно представить.

Здесь опять помог случай. В каждой большой библиотеке и в старину и теперь находились и находятся незаметные труженики, как бы совершенно утратившие свою индивидуальность и слившиеся с библиотекой или теми работами, которые в ней создаются. Сами они не творцы и даже редко имеют свои темы, но они органически вживаются в интересы других и для ученых незаменимы; некоторые темы без них иногда не могли бы завершиться. Один из таких тружеников, совсем молодой человек, но безнадежно уже отравленный библиотекой, раз принес мне на стол около шкафов с рукописями, где я кончал свои занятия над Тантави, кипу больших писчих листов середины прошлого века, сплошь покрытых арабскими и русскими письменами вперемежку. Листы нигде не были зарегистрированы и валялись внизу какого-то библиотечного шкафа, где их и обнаружил мой добροжелатель, инстинктивно почувствовав, что они имеют какое-то отношение к моему Тантави.

Сперва я ничего не мог разобрать. Груда бумаги содержала

не менее полутора листа, заполненных не то чертами, которые любят иногда проводить дети на белом пространстве, не то каракулями взрослого человека, который учится писать. Расположив их кое-как в системе по внешнему виду и по имевшейся на отдельных страницах нумерации, я начал понимать, в чем дело, и мне стало сразу жутко. Листы, как оказалось, содержали все те же близкие Тантави сюжеты: собрания пословиц на египетском диалекте, образцы народных привестий и песен, разные материалы по реторике, лексике, грамматике. Но все это было писано, очевидно, уже тогда, когда «паралич нижних конечностей» стал распространяться на руку. Больно было смотреть, как постепенно владельцу ее приходилось вести все большую и большую войну с процессом письма. Перо или калам не слушались его, втыкаясь в бумагу при каждом движении; рука старалась выводить арабскую или русскую букву, но вместо этого вдруг судорожно дергалась и какая-то фантастическая изломанная черта пробегала чуть не по всей странице. Материал везде был живой и интересный, но если первые листы еще поддавались, хотя с трудом, разбору, то дальше дело шло все хуже и хуже: временами буквы сливались в какую-то стенографическую линию или напоминали писание слепого. И так продолжалось на протяжении десятков листов; красноречиво они говорили о том, как упорно цеплялся Тантави за призрачную возможность вести умственную работу, от которой его живую несдававшуюся натуру отрывали свои собственные немеющие руки. Если в рассказах современников можно найти тему для романа о Тантави, то эти листы говорили о тяжелой трагедии его догоравшего существования. Так рукописи открыли мне всю эту жизнь, которая началась в маленькой египетской деревушке, развернулась в центрах арабской науки Танте и Каире, перешла в столицу России С.-Петербург и запечатлена могильной плитой на Волковом кладбище.

Моя книжка о Тантави вышла в начале 1930 года. Не всем она почему-то понравилась, но меня утешило то, что арабисты и арабы, а особенно земляки шейха ее оценили и нашли для нее теплое слово. Я много пережил пока работал над ней. До сих пор, когда меня спрашивают, какие из своих работ я считаю достойными памяти в науке, я всегда называю только четыре книги — о дамаском веселом поэте, что был зазывалой на фруктовом рынке, об изящной сатире мудрого слепца поэта-философа из Сирии, о теории поэтического слова, которую создал эмир, поэт и тонкий филолог, который на свое несчастье пробыл один день багдадским халифом, и последнюю — о египетском шейхе, профессоре в Петербурге. Но иногда мне кажется, что больше всех я почему-то люблю именно последнюю и часто я открываю ее, чтобы посмотреть на портрет того, о ком идет в ней речь.

#### 4. Аль-Андалус и Ленинград

(1906—1942)

Молодому арабисту, который захочет проникнуть основательно в науку, предстоит сложный, иногда окольный путь. Ему надо прежде всего овладеть разнообразными «инструментами работы» и едва ли не в первую очередь западно-европейскими языками. Число нужных для него иностранных языков с прогрессом науки все растет и растет. Уже в XVII веке навсегда кончился тот период, когда ученый мог ограничиться одним латинским; теперь на первых шагах он убеждается, что для пользования даже основными неизбежными пособиями надо владеть не тремя языками — английским, французским и немецким, но прибавить к ним и четвертый — итальянский, арабистические работы на котором со второй половины XIX века стали в первый ряд мировой научной литературы. Связь Испании с арабским миром арабисту ясна еще по учебной истории средних веков, но теперь он узнает, что дружная плеяда испанских арабистов создала серьезную школу с конца XIX века и по многим уже вопросам нельзя обходиться без их трудов. Задумает он углубиться в специальную область исламоведения и быстро услышит, что лучший курс мусульманского права издан на голландском языке, как и целый ряд основных работ по внутренней истории ислама. Солидные и оригинальные школы датских и шведских арабистов заставят его познакомиться со скандинавскими языками и он должен считать еще счастливой для себя случайностью, что крупнейший исламовед прошлого поколения, венгерец, большинство работ печатал по-немецки, а финские ученые часто пользуются шведским и другими более доступными языками. Но этого мало. Русскому арабисту стыдно не знать работ по своей специальности на славянских языках: он прежде всего должен познакомиться с многовековой чешской традицией и с новой польской наукой, энергично развившей свое востоковедение после первой мировой войны в целом ряде периодических изданий и серий. Ему надо знать, что и на сербском языке существует не только большая литература, посвященная развитию арабской письменности в Боснии и Герцеговине, но за последние десятилетия вышло не мало работ, затрагивающих общие вопросы арабистики. Полезен ему иногда будет и болгарский язык; и на украинском арабист найдет и живые очерки современного мусульманского мира, принадлежащие крупному специалисту, и едва ли не лучшие в художественной литературе «Бейрутские рассказы» или «Песни Ливана». Список необходимых языков ширится и ширится; если выдвинуть эту фалангу всю сразу, она может устрашить, но при постепенном движении человеческой жизни ею часто овладеваешь как-то незаметно для самого себя.

Арабисту понятен притворный ужас знаменитого голландского ориенталиста Снук Хюргронье, побывавшего инкогнито в

Мекке, когда он еще в 90-х годах писал из Батавии на Суматре Розену, не без иронии благодаря его за присылку очередного выпуска «Записок Восточного отделения Русского археологического общества», которые всегда выходили только на русском языке. Он говорил, что, пожалуй, скоро молодой магистрант-ориенталист, прежде чем погрузиться в свою специальность, должен будет изучить 32 языка, на которых печатаются работы из его области, и среди них будут не только русский или голландский, но даже малайский, тамильский... По счастью, на практике это оказывается все же не так страшно; и удельный вес разных языков в области арабистики не одинаков и не все они в одинаковой мере нужны для отдельных тем.

Но едва ли найдется хоть один арабист, чем бы он ни занимался ближайшим образом, для которого притягательной силой не звучало бы самое имя «аль-Андалус», как называли арабы Испанию, который не знакомился бы с классическими работами Доzi о мусульманской Испании, овеянными романтикой, хотя и устарелыми теперь, но неувядаемо прекрасными по своей художественности. Всякий арабист в какой-нибудь период своего научного роста ощущал это «веянье аромата от свежей ветви Андалусии», как называется знаменитая, посвященная арабской Испании, антология XVII века; всякий невольно переносился не только мыслями, но и чувствами за Пиренеи. Недаром Розен, составляя андалусский отдел в поэтической части своей знаменитой не только у нас арабской хрестоматии, не мог удержаться от соблазна «присочинить» несколько стихов к помещенной здесь элегии давнего арабского поэта-рыцаря.

Однако от арабской Испании до испанских арабистов ведет путь не близкий и часто кружной. Не приходится удивляться тому, что для европейской науки испанские арабистические работы часто оставались неизвестными до последнего времени. Моя судьба в этом отношении была счастливее, и я рад, что «андалусская» линия моих научных интересов не прерывается уже почти сорок лет. С испанскими арабистами меня познакомили все те же книги и рукописи; рано к ним прибавились важные рукописи современности — письма, которые постепенно оживились фотографиями, но лично никого из них мне не суждено было увидеть. Дорога шла медленно.

Испанская арабистика долгое время жила под несчастливой звездой: суровый, хотя и справедливый приговор Доzi над некоторыми представителями ее в первой половине XIX века силой его авторитета роковым образом распространился и на все более новые работы на испанском языке. Их перестали читать, но по счастью во второй половине XIX века нашлись новые силы. Не боясь труда, упорно, методично, без всякого почти признания у себя на родине, неизвестные прочей Европе, работали два поколения одиноких самоотверженных арабистов и уже в начале XX века картина резко изменилась, хотя испанские работы остава-

лись все еще скрытыми от арабистики других стран. Случай заставил меня задуматься над этим.

В 1906 году, готовя для печати свой первый обзор новой арабистической литературы по некоторым специальным вопросам, я неожиданно натолкнулся в университетской библиотеке на вышедший за два года до того большой юбилейный сборник в честь Франсиско Кодеры. Для нужной мне тогда библиографии там нашлась только одна статья, но меня поразило прекрасно отпечатанный том почти в 700 страниц, самое появление которого сделало бы честь не только скромному провинциальному городу Испании Сарагоссе, но любому востоковедному центру Европы. Число одних испанских участников, писавших на арабистические темы, говорило о серьезности созданной школы; список работ юбиляра с его портретом впервые дал мне почувствовать всю настойчивость и методичность этого упорного труженика, в котором историк и нумизмат как-то уютно сочетался с агрономом и с создателем маленькой арабской типографии у себя в кабинете, где наборщиками были он сам и обученные им студенты арабисты. Все же впечатление от издания казалось мимолетным, и, может быть, не оставило бы следа, если бы его не поддержали воздействия, шедшие с другой стороны.

Розен, через руки которого должен был пройти мой библиографический обзор, острым оком сразу усмотрел статью из сборника в честь Кодеры и, как всегда, восторженно, точно с изумлением спросил: «А откуда вы про него узнали?» Я должен был покаяться, что случайно наткнулся на него в университетской библиотеке. «Ну, вот и отлично, когда-нибудь также случайно изучите и испанский язык! А наш испанист как раз теперь учит у меня арабскую грамматику». Речь шла об известном уже, достаточно солидном тогда романисте Д. К. Петрове, который первым из школы А. Н. Веселовского не побоялся подойти непосредственно к арабскому языку. С этих пор Розен, по свойственной ему живости, часто делился со мной мыслями о ходе работы своего нового ученика; у него впервые я узнал и неизбежную для всякого испанского арабиста хрестоматию Лерчунди и Симонет. Летом 1907 года Д. К. Петров побывал в Тюбингене у профессора Зейбольда, единственного в Германии арабиста, близко знакомого с cosas de Езрафа «испанскими делами»; он был когда-то секретарем Дон Педро Бразильского и вместе с ним перевел «1001 ночь» на португальский язык. Не очень понравилось Розену, что под его влиянием Д. К. Петров задумал издание «Ожерелья голубки», знаменитого трактата о «любви и влюбленных» испанско-арабского литератора XI века Ибн Хазма; эту работу по единственной лейденской рукописи Розен считал слишком трудной для молодого еще арабиста.

В 1908 году Розен умер, я уехал на Восток и здесь испанские впечатления нахлынули на меня еще с новой стороны. Тогда впервые я узнал, что в Бразилии и вообще в Южной Америке

существует довольно многочисленная арабская колония, что многие тамошние арабы являются поэтами, но часто пишут по-испански и португальски. И среди побывавших там ливанцев мне приходилось встречать не мало владевших достаточно свободно тем или другим языком. Все меня опять влекло в Андалусию и возвращение в Россию дало, наконец, этим пока еще неясным стремлениям отчетливую форму. Испанист Д. К. Петров продолжал готовить свое издание этюда-антологии Ибн Хазма; скоро пошли корректуры и я с интересом принял участие в этой работе. В нашем распоряжении были фотографии уникальной лейденской рукописи и, вглядываясь в ее строки, я постепенно проникал в жизнь и литературные вкусы Андалусии глубже, чем мог это сделать по художественным страницам произведений Дези, подернутым туманным флером романтизма XIX века. Незаметно мне делались доступными и «орудия труда»; непринужденно развивалась у нас с Петровым система своеобразного взаимного обучения: он ходил на мои специальные курсы по арабской поэзии, где нередко составлял половину моей аудитории. Для нас, арабистов, это было не в диковинку, и с тем большим жаром мы штудировали и знаменитую антологию IX века «Хамасу» Абу Теммама и трогательные элегии арабской древности. Я старался не пропускать его лекций, имевших отношение к Испании. Вместе с молодыми романистами я изучал староиспанский язык, разбирая «Cronica general» — Всемирную хронику столь известного в истории испанско-арабской культуры Альфонса ученого, или погружался в текст испанских и арабских источников по истории завоевания Испании арабами, которым посвящал свой курс Д. К. Петров. И здесь аудитория к концу полугодия состояла из двух человек; вторым был мой младший товарищ, тогда магистрант истории Востока, впоследствии один из организаторов польского востоковедения после мировой войны, умерший в молодых годах профессором во Львове. Постепенно круг «взаимного обучения» расширялся: на моих занятиях по начальному курсу арабского языка стали появляться усердные слушатели из молодых романистов, учеников Д. К. Петрова; у одного из них, который вел в университете семинарий по португальскому языку, я бывал систематически на занятиях, где впервые передо мною открылся своеобразный талант Эса де Кейрош. Отдельные его произведения переносили меня на арабский восток, как исторические повести А. Иркулано рисовали эпоху расцвета арабской культуры в Испании. Так, классическая арабская литература связывалась в моих занятиях органически с современной испанской и португальской; обе линии поддерживали одна другую и разъясняли многое, что осталось бы незамеченным при обособленном пути.

Когда в 1919 году возникло сыгравшее большую культурную роль основанное Горьким издательство «Всемирная литература», мы, восточники, почувствовали особенно живо эту неразрывную связь Востока и Запада, и в так называемой «Западной коллегии»

Совета издательства мы были заинтересованы не менее, чем в нашей «Восточной», и там сознавали себя не гостями, а участниками. С одинаковой любовью я редактировал перевод связанной с Андалусией философской новеллы Ибн Туфейля, в которой иногда хотели видеть предка повести о Робинзоне Крузо, и принимал участие в серьезной работе над переводом испанского романа из эпохи морисков Энрике Ларрета. Постепенно, несмотря на всю сложность международных отношений того времени, до меня начинали доходить и работы испанских арабистов, открывавших перед моими глазами новый мир, мало знакомый в Европе. Хотя и с большим опозданием, но мне стала известной талантливая и смелая работа 1919 года о мусульманской эсхатологии в «Божественной комедии» Данте, вызвавшая до ста рецензий во всем мире. В этой книге нашлось место и для характеристики «Послания о прощении» моего любимца Абу-ль-Аля. Я откликнулся на нее статьей, в которой пытался показать, что напрасно автор видит только одно из отражений легенды о путешествии Мухаммеда на небо в этой тонкой, изящной иронии над мусульманскими представлениями о загробной жизни.

Какими-то неведомыми путями распространялись за рубежом слухи о моем интересе к испанско-арабским сюжетам. В конце 1926 года я получил письмо от неизвестного мне лично редактора международного журнала «Litteris», который издавался в Швеции и был посвящен разбору выдающихся работ на всех европейских языках из области гуманитарных наук. Редактор просил меня дать отзыв о только что вышедшей книжке молодого испанского арабиста, посвященной вопросу об одном из источников новеллы Ибн Туфейля. Он извинялся, что обращается ко мне, но прибавлял, что не знает арабистов в Европе, которые бы следили за работами на испанском языке; Д. К. Петрова уже не было в живых. Книжка мне была известна, благодаря интересовавшему меня тогда сюжету; она производила очень хорошее впечатление и я сразу почувствовал крупное дарование по этой, едва ли не первой работе начинающего ученого. Я с большим удовольствием написал статью, а в 1929 году получил аналогичную просьбу по поводу новой работы того же арабиста, которую тоже выполнил. В своем отзыве на этот раз я не мог не защитить молодого автора от вызванной его книжкой несправедливой, как мне казалось, нападки президента Арабской академии в Дамаске на испанскую науку вообще. Впоследствии я с удовлетворением узнал, что представители серьезной арабской прессы приняли мою сторону в этой случайной маленькой полемике. В определении научного дарования я не ошибся: очень скоро совсем юный ученый получил по трудному конкурсу одну из наиболее почетных в Испании кафедр арабского языка в Гранаде. Мне писали, что некоторую роль в этом сыграли мои отзывы, и я был очень тронут, когда в 1934 году он посвятил мне свою новую работу. Вкладной лист изящного издания со странной фамилией какого-

то северного ученого в Ленинграде, вероятно, производил своеобразное впечатление на земляков автора в былой Андалусии.

Очень важным оказался для меня второй результат таких завязавшихся постепенно связей с испанской наукой. С тех пор я стал получать все вновь выходившие в Испании книги по арабистике. Такая щедрость иногда меня даже смущала; книги издавались обыкновенно очень хорошо, часто роскошно; среди них нередко попадались и монументальные труды, как работа в четырех фолиантах об архиве мосарабов в Толедо. Благодаря такому вниманию я получил в 1928 году двухтомный сборник статей главы тогдашней испанской арабистики Хулиана Риберы, изданный его учениками по случаю 50-летия его профессуры. Новый подарок поразил меня не меньше, чем случайно попавший мне в руки два десятка лет тому назад юбилейный сборник его учителя Кодеры. В книге развевталась перед читателем не только почетная эволюция научного творчества крупного ученого, но и величественная картина развития всей испанской арабистики за полвека. Я не мог остаться равнодушным к ней: мне делалось как-то больно, что даже специалисты других стран мало о ней знают. Пользуясь сравнительным досугом летом 1928 года, когда я мог провести два месяца в Полтавской губернии на берегу реки Псла в местности с живописным названием Бутова Гора, я подготовил систематический обзор двухтомного сборника. Серьезность сюжета не удержала меня от маленького озорства при указании в печати места, где писалась моя статья. Оправданием мне может послужить только то, что и Розен позволил себе в подобном случае шутку. Читатели одну из его лучших рецензий иногда останавливаются в недоумении перед названием местности «Кал'ат аль-джу», где она была написана, зная, что автор никогда не жил на востоке; даже арабист не сразу догадывается, что это лишь точный арабский перевод Гунгербурга, где Розен проводил лето на даче. Пусть же и мое «Кух и Бут» не заставит думать о Персии или Индии, так как это только «перелицованная» по-персидски Бутова гора. Создавая с увлечением свою статью, которой я мечтал возместить хотя немного свой долг перед испанской арабистикой, я вспоминал здесь в «гоголевской» обстановке, что и Гоголь ведь когда-то писал о халифе аль-Мамуне и что у него есть вдохновенные страницы об арабской культуре, правда страницы художника, а не ученого. Впоследствии я узнал, что моя статья была переведена в Испании на испанский язык и еще прочнее закрепила связь между арабистами двух стран.

Конечно, не от одних книг протягивалась нить взаимного сочувствия; если рукописи играли в этом общении меньшую роль, то, вероятно, потому, что в наших собраниях сравнительно мало памятников андалусского или магрибинского происхождения. Все же наш знаменитый уникум Ибн Кузмана часто мне приходилось тревожить для каких-нибудь справок по просьбе заочных испанских друзей. И они недоумевали, не менее нас, по поводу непо-

нятного назначения медной магрибинской таблички, хранящейся в ленинградском собрании и опубликованной нашей эпиграфисткой. Параллели ей находились только в Испании, но оставались в такой же мере загадочными. Ряд неисследованных раньше рукописей в Ленинграде стал выплывать, благодаря еще новой инициативе испанских арабистов.

В 1933 году они смело положили начало опыту, никогда не осуществлявшемуся в истории нашей науки в большом масштабе, — изданию специального журнала по арабистике. В названии его звучало все то же манящее слово «al-Andalus», но он был посвящен всем арабистическим сюжетам, понимаемым широко, конечно с преимущественным вниманием к Испании и к северной Африке. Издавался он продуманно и изящно; его гостеприимные страницы были всегда открыты для ученых всех национальностей и статей на основных западноевропейских языках. Зеленые книжки быстро превратились в международный орган и к нему потянулись арабисты всех стран. У меня постепенно зародилась мысль познакомиться западных коллег в последовательном ряде статей с наиболее интересными рукописями наших собраний, которые имеют связь с Андалусией и Магрибом. Я начал все с той же близкой мне коллекции шейха Тантави в университетской библиотеке, которая и в этой области не была лишена значения.

Начало положила одна поэтическая антология, писанная типичным магрибинским шрифтом в первых годах XVIII века, интересная для литературной истории всего арабского мира; она давно лишилась начала и поэтому автор ее был неизвестен. Мне она представлялась уником, но моя статья дала толчок к открытию другого экземпляра в Фесе; дальнейших сведений о нем, однако, не появлялось. Со второй статьей, которую я готовил для следующего тома «al-Andalus», произошла уже любопытная случайность, каких было не мало в моей жизни арабиста. В той же коллекции Тантави мой ученик, подготовлявший начатый мною каталог рукописей, обнаружил сокращенную редакцию одного очень важного для литературной истории Андалусии сочинения; по моим соображениям она являлась уником для европейских собраний. Автор ее был мне давно близок: крупный канцелярский чиновник эпохи мамлюкских султанов в Египте, он находил время и для своих литературных занятий. Когда-то я открыл, тоже в университетской библиотеке, другое его сочинение, неизвестное раньше, и с тех пор трогательно зазвучало для меня его имя Ибн Маммати. «Маммати» — моя мамочка — так прозвали его деда бездомные каирские детишки, которых он кормил во время жестокого голода, обрушившегося на Египет. Описание мое было почти готово, как пришла очередная зелененькая книжка «al-Andalus». Велико было мое изумление, когда, открыв ее, я сразу наткнулся на статью моего молодого испанского друга, теперь одного из двух редакторов журнала, с описанием той же сокращенной редакции по каирской рукописи, которую он счи-

уником. Наш манускрипт потерял свой ореол уникальности, но подготовленная работа сохранила значение и увидела свет в следующем томе «al-Andalus». Было это уже в 1935 году. Продолжая задуманную серию, я готовил еще другие статьи, но в Испании скоро вспыхнула война и ставшие привычными зеленые книжки «al-Andalus» перестали приходить в Ленинград; издание прервалось.

Наши мысли, конечно, попрежнему стремились в Андалусию: об этом говорила и брошюра «Арабская культура в Испании» и статья об арабском поэте «садовнике» в Андалусии и большая монография об арабской поэзии в Испании. Все же как-то грустно было их писать и печатать, сознавая, что они остаются неизвестными для тех западноевропейских арабистов, которым они, быть может, наиболее близки и понятны. Еще грустнее стало мне, когда весной 1942 года в осажденном Ленинграде все среди тех же наших рукописей я обнаружил неизвестную биографию автора антологии «Веяние аромата от свежей ветви Андалусии»; я живо представил себе, с какой радостью редакторы «al-Andalus» увидели бы статью об этом на страницах своего журнала... Но зачем горевать? Ведь всякие ночные кошмары исчезают бесследно с рассветом. Близок день, когда опять испанские и русские арабисты начнут совместную работу на том поле, где для общечеловеческой мировой науки нет никаких межей; настанет день и опять ласкающие глаз зеленые книжки «al-Andalus» появятся в кабинете ленинградского арабиста.



## V. «НА ЛОВЦА И ЗВЕРЬ БЕЖИТ»

### 1. Бронзовые таблички из страны царицы Савской

(1930)

Арабист современного поколения с первых шагов самостоятельной работы должен считаться с непреложным законом — дифференциацией науки. Теперь нельзя уже, как бывало раньше, стать специалистом во всех трех областях — лингвистики, литературоведения, истории. Каждая из них настолько развилась, накопила такие большие материалы, что человеческой жизни мало для овладения этим богатством даже по одной из трех линий. Но и помимо этого деления, самостоятельное существование постепенно приобретают все новые и новые специальности, хозяином которых может стать только целиком отдавший им себя ученый.

Уже с конца XIX века, благодаря трудам голландца Снук Хюргронье и венгерца Гольдциэра, окончательно оформилось исламоведение, требующее теперь длительной и серьезной подготовки. В истории последовательно начинают жить своей жизнью вспомогательные дисциплины: эпиграфика с палеографией требуют овладения особым комплексом необходимых для них знаний, в такой же мере, как нумизматика. В лингвистике с XX века важную роль играет диалектология; в истории литературы — изучение новой литературы, которое может поглотить человека всецело, если он не хочет остаться диллетантом, только случайно и поверхностно затрагивающим разнообразные сюжеты.

Среди многочисленных более «узких» специальностей арабистики давно уже обособилась та, которую условно можно назвать «сабеистикой», изучением южноарабского языка, южноарабской культуры. Хронологически она связана больше с древним, чем средневековым востоком, как едва ли не все другие области арабистики; отличие языка и шрифта, близкого скорее к эфиопскому, чем к собственно арабскому, почти полное отсутствие непосредственного влияния на мусульманско-арабскую культуру, как бы передавало ее в ведение историков древнего востока или абиссинистов. Материал с конца XIX века, благо-

даря новым и новым изданиям надписей, рос здесь довольно быстро, но самые обычные пособия отсутствовали: долгое время не было никакой грамматики, хрестоматия появилась только в 30-х годах, а словаря и до сих пор нет. Основным «инструментом работы» служит обыкновенно монументальный «Согрус», свод семитических надписей, издаваемый французской Академией надписей; за последние годы, наконец, прибавился к нему и «Répertoire» — перечень всех изданных южноарабских надписей с указанием важнейшей литературы о них. Постепенно почти в каждой стране появился свой специалист «сабейст» и количество их во всем мире теперь доходит, пожалуй, и до десятка. Как часто бывает в науке, наиболее крупных знатоков выдвигают не всегда наиболее крупные страны: к 30-м годам самые выдающиеся «сабейсты» существовали в Австрии, Дании, Бельгии и Италии.

В наших собраниях южноарабские древности никогда не были представлены сколько-нибудь значительными образцами и никакой традиции в этом направлении у нас не создано. Наши арабисты всегда были связаны больше с мусульманским востоком, чем с древним миром или семитологией, так что и с этой стороны никакой инициативы не возникло. Иногда только какие-то смутные намеки, отголоски древних легенд заставляли задумываться о «счастливой Аравии», но, не находя себе поддержки в реальном материале памятников, проходили бесследно, постепенно заслоняясь более близкими картинами арабской культуры эпохи халифата.

Так было и со мной. Образ царицы «савской», приходившей когда-то к Соломону испытывать его мудрость и загадывать загадки, еще в гимназические годы вставал в каком-то ореоле романтизма и таинственности; позже он нашел себе освещение в мусульманской легенде о царице Билькис, на которую я натолкнулся случайно еще на первом курсе в попавшей мне в руки арабской хрестоматии. Занятия Абиссинией в те же годы перекидывали мост в южную Аравию, и по своей инициативе, готовясь к магистерскому экзамену, я считал нужным немного познаться с литографированной южноарабской хрестоматией Хоммеля, единственным в те времена пособием. Настоящей пицци все же не было. Распространенный южноарабский амулет нашелся в полной всякими диковинками коллекции Н. П. Лихачева, но он содержал только шесть сабейских знаков и опубликованное мною издание было задумано скорее для полноты сведений о наших собраниях, чем для серьезного обогащения знаний о южноарабской культуре. Рассматривая по временам фотографии или снимки с памятников в европейских музеях, я никогда не думал, что может настать такой момент, когда мне придется самостоятельно разбирать не бывшие еще ни у кого в руках надписи и определять их значение. Произошло это довольно поздно, в 1930-м году, когда я уже, признаться, порядком растерял свои познания периода магистрантской подготовки и да-

же не подозревал, что они когда-либо понадобятся для такой неожиданной задачи.

В конце 20-х годов у нас впервые завязались непосредственные официальные сношения с Йеменом; центром их было наше Торгпредство в Санаа, нынешней столице «счастливой Аравии». Эти связи вызвали не только появление кинофильма «Йемен» и нескольких популярных книжек с описанием путешествий в эту когда-то загадочную и недоступную страну; они имели и некоторые научные результаты, к сожалению не в том объеме, как хотелось бы арабисту. Попавшие туда лица с востоковедным образованием, воодушевленные благими стремлениями, делали записи материалов по йеменскому диалекту, начиная от отдельных слов и грамматических форм до связных диалогов, фольклорных текстов и даже сказок. Количество записей накопилось довольно значительное, но они производились без предварительной специальной подготовки, без знакомства с арабской диалектологией, без необходимого знания выработанных наукой приемов записи. Почти все эти материалы, при невозможности серьезной проверки на месте, оказались бесполезными для науки. Такую же невеселую картину открывали усиленно приобретающиеся там «древности». Можно не сомневаться, что было бы полезнее, если бы приезжие ставили целью пополнить наши этнографические коллекции или приобретать попадающиеся арабские рукописи; тогда, вероятно, было бы гораздо меньше разочарований. Наши коллекционеры не подозревали, очевидно, что в Йемене давно уже развился своеобразный промысел подделки «древностей», поставленный очень широко на коммерческую почву. В самой Санаа, а еще более того в соседних городках и местечках, существует ряд оригинальных «кустарных» мастерских, в которых чаще всего ювелиры или каменщики подделывают надписи на суррогатах бронзы, на камне, высекают якобы древние статуэтки и всякие амулеты. Значительного спроса на этот товар в Санаа, конечно, не было, потому что и европейцев там жило ничтожное количество; основной «экспорт» целыми ящиками на верблюдах направлялся караванным путем в Аден, где ловкие агенты уже в розницу доставляли предметы на океанские пароходы, в большом числе заходящие в этот порт. Туристы всех национальностей, возвращаясь с Дальнего Востока или из Индии, а то из кругосветных путешествий, с радостью раскупали эти «тысячелетние памятники счастливой Аравии», составляя иногда из них целые коллекции. Только случайный взгляд какого-нибудь специалиста приносил иногда горькое разочарование владельцам, а производство пока продолжало процветать. Невольными клиентами его оказывались часто и наши соотечественники. С конца 20-х годов десятки таких предметов, иногда целыми ящиками, стали попадать в мои руки; я только жалел своих земляков, которые с не малой затратой энергии и средств транспортировали новые приобретения на родину. Они

развили во мне жестокий пессимизм: мне начинало казаться, что едва ли в Йемене случайный заезжий иностранец XX века без специальной подготовки и тщательных поисков найдет что-либо ценное в научном отношении. Однако раз я все же ошибся.

В начале 1930 года ко мне явился один много путешествовавший врач и по просьбе своего знакомого, служившего тогда в нашем Торгпредстве в Санаа, принес две бронзовые таблички с южноарабскими письменами; надо было определить их научное значение и, в случае подлинности, передать в наиболее подходящее из наших собраний. При обычной грубой подделке я бы, вероятно, сразу ее узнал и решение было бы легко, но здесь с первого же взгляда передо мною встал трудная задача: либо подделка была очень искусной, либо впервые за все эти годы нам попались подлинные южноарабские древности. Последнему как-то не верилось, хотя по внешнему виду таблички совершенно не походили на все то, что до сих пор мне приходилось видеть в новых поступлениях из Йемена. Бронза, совершенно позеленевшая и покрытая местами патиной, напоминала старокитайскую; приставший песок и глина тоже как будто говорили о долгом пребывании в земле. Форма букв отличалась несравненно большим изяществом и уверенностью очертаний, чем на каком бы то ни было из попадавших мне в руки поддельных образцов. Однако решать вопрос по внешним данным было бы слишком опрометчиво и в первую очередь надо было произвести анализ надписей, выяснить, что и как они говорят. Такой задачи мне никогда еще не приходилось решать; приступить к первому опыту было жутковато, но и отказаться от него было нельзя. Этого не допускало достоинство нашей науки; неудобно было в самом деле, ввиду отсутствия у нас специалистов, послушаться совета некоторых наших представителей и послать надписи на экспертизу в Италию. Такой совет, о котором я узнал еще до того, как надписи оказались у меня в руках, не мало меня задел и особенно подзадорил. Я решил не торопиться и не падать духом прежде времени; я ответил, что по первому впечатлению надписи кажутся мне подлинными, но анализ их требует некоторого срока.

Прежде всего надо было выяснить, есть ли параллели к нашим табличкам в западноевропейских собраниях и в какой мере они совпадают по содержанию. Благодаря наличию в нашей библиотеке парижского «Corpus'a» — свода семитических надписей, это оказалось не трудно: до сих пор их известно четыре или, точнее говоря, три с половиной, так как у одной сохранилась только верхняя половина; две из них находятся в Лондоне, две — в Вене. Это обстоятельство еще более усиливало мое подозрение. Трудно было предполагать, что такие редкие памятники могли случайно попасть в руки случайному покупателю. Йеменские антиквары хорошо знают цену настоящим древностям и, вероятно, сумели бы найти для них более выгодный сбыт.

Между тем постепенная дешифровка текста не открывала мне ничего, что говорило бы о подделке. Смысл, благодаря параллелям, мне удалось уяснить быстро. Как и ранее известные образцы, это были так называемые «покаянные таблички», которые вывешивались в храмах и как бы доводили до всеобщего сведения о тех прегрешениях, которые совершили подносящие их. Судя по тому, что в большинстве случаев назывались женские имена, вероятно, грешницами являлись гиеродулы — жрицы южноарабских храмов; прегрешения их обыкновенно сводились к нарушению каких-нибудь установлений или обетов, чаще всего ритуального характера. Имена кающихся менялись, храм божества чаще всего назывался один; очевидно, большинство надписей происходило из одного места. Затруднения при разборе возникали, главным образом, тогда, когда знакомые теперь параллели были недостаточны. Меня смущало, что появляются какие-то неведомые до сих пор имена божеств и лиц, что попадаются неизвестные слова и выражения. Мне все не верилось, что оказавшиеся у нас таблички несут такое значительное обогащение наших сведений не только с общекультурной точки зрения, но и по более узким вопросам ономастики и лексики. Я думал, что при малой начитанности в памятниках, приобретаемых только теперь в ходе работы, мне просто остаются неизвестными существующие факты. Я тогда решил прибегнуть к обычному хорошо испытанному средству — международному общению ученых — и стал обращаться за разъяснениями встававших передо мною вопросов по отдельным случаям к двум крупнейшим специалистам — в Австрию и Данию. Первый мне был знаком по письмам, так как в молодые годы, до того как сосредоточиться на сабеистике, он много занимался арабской поэзией; мнение его мне было в особенности важно, как ученого, близко стоявшего к обработке венских коллекций и, конечно, хорошо знавшего находившиеся там покаянные надписи. Датский исследователь незадолго перед тем выпустил под своей редакцией первый том большого Handbuch'a — свода древнеарабской археологии. Переписка быстро завязалась, но разница в темпераменте обоих ученых обнаружилась очень любопытно. Австрийский коллега, между прочим едва ли не единственный крупный ориенталист грек, охотно старался разъяснить мои недоумения, которые иногда может быть, казались ему даже элементарными, приводя различные параллели, высказывая всякие соображения, поддерживая меня в мыслях о подлинности надписи. Датчанин отнесся более сурово. Он, повидимому, был не склонен погружаться в детали, доказывая, что сперва надо выяснить, не поддельны ли наши бронзовые таблички и стоят ли они того, чтобы ломать над ними голову. В случае присылки фотографий, он готов был передать их для изучения какому-то из своих учеников, который по его словам занимался специально такими вопросами. Пойти на это значило бы, с моей точки зрения, сознаться в своем бессии-

лии и, не исчерпав всех средств, отказаться к тому же от приоритета нашей науки. Мне делалось как-то стыдно. Я предпочел «ломать голову», продолжая изредка прибегать за помощью к отзвучившему профессору в Граце.

Хотя и медленно, надписи все же поддавались моим усилиям; даже вторая, местами сильно пострадавшая от патины, постепенно открывала свои, на первый взгляд, совершенно изъеденные знаки. Не мало помог в отдельных случаях острый глаз графика и палеографа, моей жены, который облегчил вырисовку оригинала для клише; в наших типографиях сабейского шрифта, конечно, не было. Мы даже рискнули условно восстановить некоторые совершенно исчезнувшие знаки; когда значительно позже, уже после того как статья о надписях была напечатана, опытный ученый реставратор «очистил» таблички и ряд знаков выступил более отчетливо, мы с радостью увидели, что наши предположения были правильны. Мое убеждение о подлинности попавших в наши руки памятников крепло: подделать так безукоризненно мог только большой знаток и крупный ученый, предполагать наличие которого в южной Аравии не было никаких оснований. Оставалась, правда, еще одна возможность: надписи могли оказаться современным воспроизведением древнего оригинала. Однако такого оригинала до сих пор науке не было известно, а значит и копии, если они являются таковыми, сохраняют свое научное значение.

Постепенно, шаг за шагом, я сделал все, что было в моих силах, и решил пустить наши надписи на мировой суд науки, издав их в фотографии с доступным мне исследованием. Все же делал это я с не малым страхом. Я боялся не столько того, что проглядел какие-нибудь ошибки в чтении и толковании отдельных деталей, мне даже хотелось, чтобы кто-нибудь разъяснил остававшиеся у меня сомнения, — я боялся, что вдруг мои надписи окажутся все-таки поддельными и я на всю жизнь приобрету себе печальную известность, вроде тех французских археологов, которые не сумели обнаружить фальсификацию знаменитой одесской «тиары Сайтаферна».

Еще до того, как моя статья вышла в свет, один довод прибавился в мою пользу. В химической лаборатории был произведен анализ бронзы, послужившей материалом для таблиц. Характер изменений на ней показал, что таблицы пролежали в земле не меньше тысячи лет. На мой взгляд, это обстоятельство в связи со всеми предшествующими соображениями относительно текста решало вопрос окончательно. Какая-то боязнь у меня все же оставалась.

С первыми откликами на публикацию страхи быстро рассеялись. Небольшое количество специалистов помогло тому, что все сабеисты в той или иной форме отозвались на новую находку. Она еще раз показала всю международность науки в нашей области. Крупнейший представитель ее, бельгиец, посвятил на-



3. Бронзовая сабейская табличка (V,1).

шим надписям особую статью: он привел несколько соображений относительно деталей моей интерпретации, но высказался определенно за подлинность надписей. Поместив их через несколько лет в составляемом по поручению парижской Академии надписей «Репертуаре» южноарабских надписей, он окончательно укрепил авторитетом этого издания их место в науке. Полностью они были эксцерпированы им и для вышедшего позднее «ономастикона» южносемитической древности. Итальянский ученый в многотомной работе об идее покаяния в религиях всего мира глубоко осветил значение этих документов в истории религии. Откликнулся и 80-летний ветеран сабеистики в Германии, который по наследству от своего отца, одного из первых когда-то пионеров этой области, умел сочетать глубокое изучение Малой Азии с интересом к южной Аравии; он тоже не поколебался признать их подлинными. Благодаря своему изданию, я узнал про молодых английских «сабеистов», которые, не подозревая, что я сам только случайный гость в этой области, стали обращаться ко мне с различными вопросами. Датский коллега преодолел свой первоначальный скептицизм и в статье о южноарабской культуре, написанной специально для нашего «Вестника древней истории», упомянул и нашу работу уже без всяких оговорок. Также своеобразное «иджма аль-умма» — «всенародное признание» в «республике» мировой науки вполне успокоило меня и вознаградило за все волнения, испытанные при разборе надписей. Имело оно и другое последствие, тоже «интернационального» характера. Когда на международном конгрессе ориенталистов в Брюсселе была избрана особая комиссия по разработке и изданию южноарабских древностей, то в состав ее был включен и представитель нашей страны. Так, попавшие к нам случайно, благодаря современным связям с Йеменом, надписи из царства легендарной Билькысы, может быть послужат когда-нибудь скромным началом научной традиции «сабеистики» и у нас.

## *2. Письмо из Согдианы*

*(1934)*

Счастлив ученый, который мог на своем веку наблюдать зарождение и развитие новой дисциплины, на глазах которого совершались неожиданные открытия и шла разработка найденных материалов, постепенно создававшая величественную картину, неведомую предшествующим поколениям исследователей. Так было в моей жизни с согдийским языком, согдийской культурой, ряд веков процветавшей в Средней Азии; она далеко раскинула свои ветви даже за пределы ее и, сломленная натиском арабов, не погибла бесследно, а органически перешла в новую стадию, которая продолжала единую, непрерывную линию развития среднеазиатской культуры.

Смотря, как зритель, со стороны на неустанные усилия, на

хорошо знакомую ученым радость от своих открытий, с которыми мои старшие товарищи упорно, шаг за шагом дешифровали еще недавно загадочные строки вновь и вновь открывавшихся согдийских манускриптов, я никогда не думал, что и мне, арабисту, далекому от истории Средней Азии, суждено будет принять участие в этой работе, что в мои руки попадет единственный в своем роде, бесценный для науки арабский памятник, ярко отразивший трагический момент последней борьбы согдийцев с арабами. Но так пожелала судьба, и в Ленинграде на одном столе рядом легли согдийские и арабские рукописи, арабист и иранист рядом лихорадочно вглядывались в полустертые письмены и трудно сказать, перед кем раньше блеснул первый луч, озаривший верный путь, луч, который одновременно, как электрический ток, заставил вздрогнуть обоих.

В 1932 году иранисты Ленинграда пришли в сильное волнение: пронесся слух, что в Таджикистане найдены какие-то согдийские рукописи. А ведь до сих пор их никогда не открывали в самой Согдиане, а только в ее колониях в восточном Туркестане. Между тем, слухи крепки, стали говорить о следах какого-то архива, обнаруженного, якобы, на горе Муг на южном берегу Зеравшана. Наконец, осенью 1933 года была снаряжена небольшая специальная экспедиция, которая и произвела там систематические раскопки. Все подтвердилось; богатство обнаруженных согдийских материалов затмило все предшествующие находки, но еще удивительнее, что кроме них нашлись одиночные китайские и арабские документы, как бы полностью отражая сложную политическую картину Средней Азии в эту эпоху.

Вести об арабских рукописях стали долетать до Ленинграда раньше, чем вернулась экспедиция. Характер их был таков, что мой скептицизм мало допускал возможность ценной находки. Говорилось, что они на коже, а ведь арабских документов на коже во всем мире до сих пор известно только шесть; трудно было допустить, что именно в Таджикистане, а не в арабских странах, произойдет неожиданное увеличение этого числа. Мне думалось, что это скорее листок из какого-нибудь пергаменного Корана; он, конечно, может быть интересен, но особой редкости не представляет. Такую мысль поддерживало и письмо начальника экспедиции, моего старшего товарища по студенческим годам на факультете, А. А. Фреймана, который между прочим сообщал, что при раскопках экспедиция нашла крошечный кусочек кожи, где ясно стояло арабское «ля илях»... (нет божества...), очевидно, обрывок обычного мусульманского исповедания веры. Правда, доходили слухи, что смотревшие больший документ в Средней Азии видели там имя Тархун, а так звали одного крупного согдийского правителя эпохи арабского завоевания, но я склонен был относить это к некоторому увлечению, прощительному для желающих связать находку с местной историей.

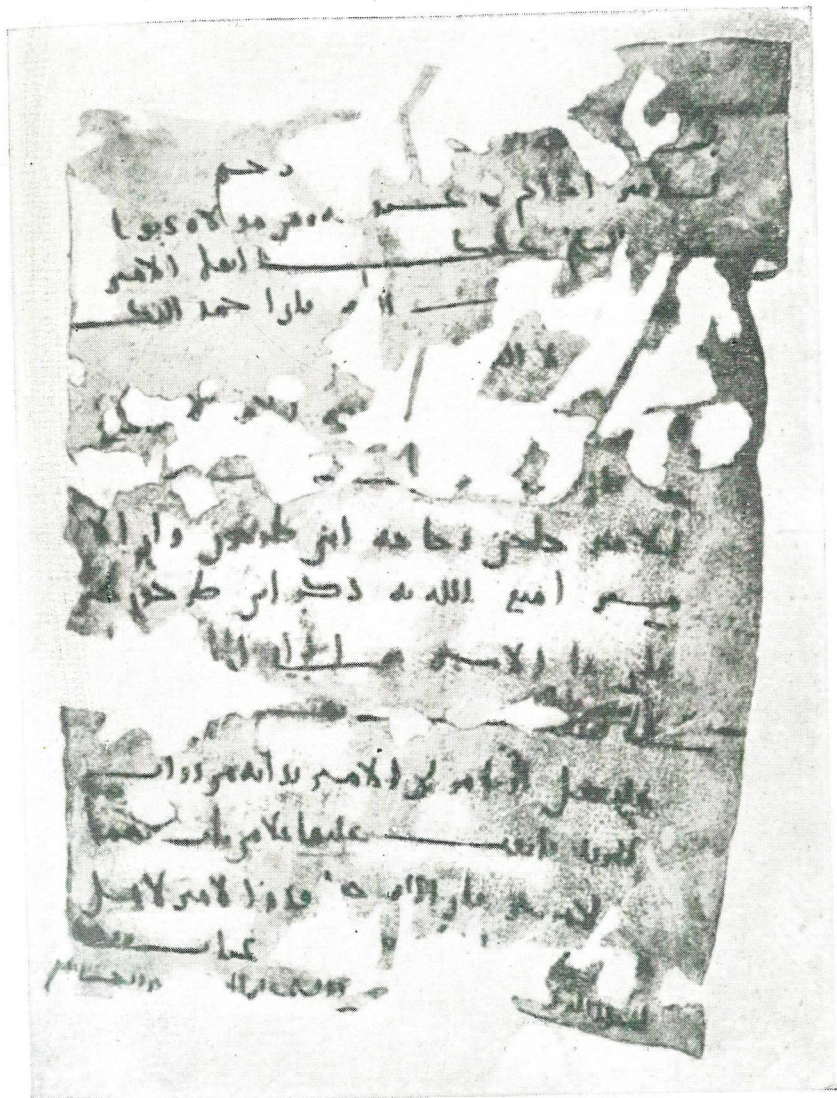
Все же мое любопытство было сильно задето и я старался

получить фотографию с рукописи, но это почему-то не удавалось сделать в Средней Азии. Возникли какие-то своеобразные «междуведомственные» трения по поводу того, кто должен считаться владельцем всех этих рукописей, где следует их хранить, кому поручить обработку. По счастью, в конце концов, рукописи приехали в Ленинград и, хотя здесь тоже некоторое время колебались, в каком помещении их можно изучать, все-таки в январе 1934 года я узнал, что они находятся временно в рукописном отделении библиотеки Академии Наук. Я был болен, в жару, конечно не мог дольше вытерпеть и на другой же день направился к зданию Академии годами знакомой дорогой по Университетской набережной. Я шел не один, со мной была жена; за последние десять лет она настолько погрузилась в тайны арабской палеографии и эпиграфики, что давно уже читала куфический шрифт лучше меня и мы с улыбкой вспоминали, как четверть века тому назад, показывая нам каирские мечети, даже местные ученые арабы на вопрос о какой-нибудь надписи, с изумлением отвечали: «Но ведь это по-куфически; это нельзя прочесть!» Теперь ее графические дарования и острый глаз нередко помогали мне разбирать отдельные начертания рукописи, остававшиеся для меня неясными, несмотря на все знание арабского языка, претендовать на которое годы, казалось бы, давали мне право.

В нижнем этаже библиотеки, в рукописном отделе мы застали уже за большим столом «пана» А. А. Фреймана, как привыкли его звать со времен студенчества. Он был погружен в согдийские не то письма, не то «палки», вывезенные экспедицией, и имел достаточно «отсутствующий», хотя как всегда солидный вид, с круглыми очками, поминутно перемещавшимися на лоб. Он уже приготовил для нас конверт и вытащил оттуда документ, присматриваясь, какое впечатление на нас он производит. С первого взгляда я почувствовал себя совершенно уничтоженным: от жару или волнения вся кровь бросилась мне в голову, в глазах рябило; я беспомощно держал в руках насквозь изъеденный червями кусок сморщенной кожи, на котором точно через красную пелену видел только отдельные арабские буквы и не мог различить ни одного связного арабского слова. Сердце забилося, как будто стремясь выскочить из груди, и первой ужасной мыслью было: «Я ничего не разберу!» Однако моментально стало стыдно и с большим усилием воли я заставил себя взглянуть вторично, но убедился, что пристально всматриваться не могу: глаза сейчас же начинал застилать красный туман. Напрягая всю волю, я стал всматриваться то в одно, то в другое место документа, не в силах задерживать взор на чем-нибудь длительно. Мысли лихорадочно вспыхивали при каждом нервном толчке и я бессознательно шептал их вслух: «Да, в первой строчке остатки обычной начальной формулы «басмаля» — во имя Аллаха... Значит, это начало чего-то, а не вырванный из середины

листок... Вот в центре, в самом деле, имя Тархун... Конечно, это не Коран... Но что же такое?» — мучительно, беспомощно бьется мысль, а кровь все сильнее пульсирует в ушах. «Письмо? Вот, вот в конце второй строчки точно стоит «от... клиента его»... но имя, имя? «Дива», «Дива» — ясно стоит «Дива» с долгим и и долгим а! Что за цепуха, какое это имя! А следующая строчка начинается еще хуже — ведь ясно читается «ситти», но это не может быть в литературном языке: «Ситти» употребляется только в разговорном и значит «госпожа моя», при чем все это здесь? Конец одной строки «Дива», начало следующей — «ситти»... И вдруг опять толчок пульса: «А может здесь перенос одного слова? Ведь бывает же это в арабских папирусах из Египта: Диваситти... Диваситти... Нет такого имени!.. Вот Тархун упоминается же в литературе о Средней Азии, а никакого Диваситти там нет... Что за дьявольщина, ведь ясно стоит Диваситти...» «Александр Арнольдович, — обращается недоуменно моя спутница к А. А. Фрейману, — у Вас в согдийских документах нет какого-то Диваситти?» Фрейман вздрагивает, очки перемещаются на лоб, с растерянным изумлением он, наконец, говорит: «Не-ет... но всюду помнится что-то вроде Диванестич, верно что-то связанное с Диван — канцелярия, может быть какой-нибудь титул...» «Да нет здесь в арабском буквы и, — уже кричу я, — просто Диваситти, Диваситти!...» Вдруг меня пронизывает новая мысль, я срываюсь со своего стула и убегаю, к полному недоумению сидящих за столом и молодого ираниста, который зашел за чем-то к Фрейману и остолбенел от моего невменяемого вида и странного диалога. Я мчусь для быстроты по боковой лестнице в восьмой этаж, где помещается Институт востоковедения и арабский кабинет; там на полке стоят двенадцать томов нашего главного историка ат-Табари и у меня мелькнула надежда, вдруг у него я найду разгадку всплывшего имени. Хорошо, что ни на лестнице, ни в кабинете я никого не встретил: я чувствовал, что вид мой может напугать, а я не в состоянии был членораздельно объяснить, что со мной происходит.

Задыхаясь от бега, я кинулся к хорошо знакомой полке, и, выхватив указатель к ат-Табари, лихорадочно стал его перелистывать в поисках похожего имени. В глазах у меня двоилось, но все же я пробежал все начертания на д почти до конца буквы. «Нет Диваситти» — упало у меня уныло сердце. И вдруг несколькими строчками ниже мелькнуло передо мною «Дивашни». «Да ведь, разница только в точках!» чуть не крикнул я, — «это одно и то же!» Не веря себе, я стал перелистывать по самой истории страницы, на которые ссылался указатель; сомнений быть не могло — там речь шла о Средней Азии и описывались события начала сотых годов хиджры. Вчитываясь сразу я был не в состоянии, никаких колебаний больше не оставалось, внутри у меня все точно засверкало и я так же стремительно помчался вниз: если бы я был лет на двадцать моложе, я бы наверное для бы-



4. Письмо из Согдианы (V,2).

строты съехал на перилах. Ворвавшись вихрем в рукописное отделение, я упал на стул и еле мог прошептать Фрейману, все еще не понимавшему причины моего внезапного бегства: «Дивасти нашелся!» Это было до того неожиданно, что три пары недоумевающих глаз с каким-то испугом устремились на меня. Когда я, несколько отдышавшись, перерывистыми фразами объяснил в чем дело, торжество стало всеобщим: все сразу почувствовали, что находка осветилась и руководящая нить попала в руки.

У меня после волнений всего дня сразу наступила реакция и я почувствовал полный упадок сил: я не мог больше в то утро заниматься документом. Но я оставался спокоен: предстояла еще очень длительная и сложная работа, однако я твердо знал, что нахожусь на верном пути и со следующего дня начал уже совсем в другом настроении планомерную теперь дешифровку письма параллельно с детальным изучением соответствующих страниц нашего ат-Табари. Только теперь я мог вглядываться спокойно в не пугавшие больше очертания; только теперь я мог оценить всю стройную красоту письма опытного канцелярского каллиграфа. Каждый день приносил теперь и радости и огорчения, маленькие открытия перемежались с разочарованиями, но все это не было уже страшно: смятый, слежавшийся в земле за двенадцать веков кусочек кожи не мог скрыть своих тайн от острого анализа палеографа, не мог отмолчаться при очной ставке с историком, показания которого сохранил бесценный свод ат-Табари.

Действительно, имя Дивасти послужило ключом ко всему: оно не только разъяснило арабское письмо, но подвело твердую базу для разработки согдийских документов. Дивасти оказался согдийским властителем, остатки архива которого и попались экспедиции на гору Муг. Разгаданное уже с гораздо меньшим трудом имя того арабского правителя, которому он адресовал свое письмо, неожиданно принесло совершенно точную дату документа сотым годом хиджры, около 718—719 года н. э. Буква за буквой были отвоеваны все фактические данные у письма. Быстро нашел себе место в документе и тот «выеденный» кусочек с началом формулы исповедания веры, который был найден экспедицией отдельно от письма. Даже строчки, уничтоженные ненасытными червями, удалось в основном реконструировать. Рассматривая теперь фотографию разглаженного письма на коже, я сам недоумеваю иногда — как нам удалось не только разобрать строчки, от которых часто уцелела одна-две буквы, но и уловить какой-то смысл в том, что было съедено. Я чувствую гордость за нашу науку, точные методы которой позволяют находить иногда то, что на первый взгляд кажется безвозвратно погибшим.

Мне думается, что такое же чувство испытали все, даже специалисты совсем других областей, собравшиеся через две недели

в феврале на заседание Сессии Академии Наук, посвященное отчету экспедиции на гору Муг. Читальный зал Института востоковедения, где обыкновенно в разных углах виднелись одинокие читатели, теперь был переполнен. Заняты были не только все места, но почти и все проходы. Непременный Секретарь Академии, пришедший в середине заседания, открыв дверь, невольно попятился: настолько необычной показалась картина для взора того, кто был знаком с видом очередных заседаний группы востоковедения. И действительно, это было торжество — торжество экспедиции, обогатившей науку невиданными материалами, и торжество самой науки, показательно говорившей о своей мощи, которая на глазах всех как бы поднимала наши знания на высшую ступень.

Конечно, работа над документами не кончилась этим заседанием, как и не кончилась изданием в том же году «Согдийского сборника», где были освещены основные научные результаты, между прочим и систематического исследования арабского письма, о котором я теперь вспоминаю. Со временем выяснилось, что имя главного героя надо читать Дивашти, а не Дивасти, удалось установить название того замка, куда он увел своих согдийцев после окончательного разрыва с арабами, удалось даже определить породу козы, на коже которой было написано послание. Вероятно много еще деталей выплывет при дальнейшем исследовании документа; я надеюсь, что кому-нибудь удастся прочесть лучше или полнее отдельные буквы и слова, которые для нас остались загадочными, однако все это уже частности. Верный путь открылся с того момента, когда впервые блеснуло такое странное и загадочное имя Дивасти; этот миг какого-то подсознательного толчка мысли, какого-то «открытия» и был началом аналитического научного процесса. Благодаря ему теперь это имя звучит чем-то близким и понятным для всех иранистов, для всех историков Средней Азии. Арабист с радостью чувствует, что попавшее в его руки письмо из Согдианы оказалось не только выдающимся, исключительным памятником арабской палеографии, но и первостепенным историческим источником.

Изучение согдийской культуры после находки на горе Муг вступило в новый период своего развития, но суровая судьба не позволила уже принять участие в нем двум лицам, которые, казалось бы, больше других ученых имели на это право. Один из них, С. Ф. Ольденбург, сам бывавший в Средней Азии и в Восточном Туркестане, сам обогативший науку находкой согдийских рукописей, умирал от неизлечимой болезни. Буквально на смертном одре он слушал наши рассказы о первых успехах дешифровки, радовался не меньше нас и строил планы дальнейшей работы, дальнейших экспедиций, в которых — он хорошо это знал — не было места для него. Но он всю жизнь трудился для науки и ее организации; непрерывное развитие и вечность науки были для него аксиомой и поэтому так спокойно и просто

он мог говорить о будущем накануне своего ухода из жизни. Ему, более чем кому-либо, мы были обязаны посвятить «Согдийский сборник», который он уже не увидел.

Только на три месяца пережил его Ф. А. Розенберг — долголетний хранитель Азиатского музея, верный сотрудник С. Ф. Ольденбурга в руководстве этим учреждением, когда-то единственным востоковедным «институтом» Академии. В последние десятилетия он особенно успешно занимался согдийскими материалами, настойчиво и систематически дешифрируя те немногие фрагменты и рукописи, которые хранились в наших собраниях. Со своей солидной иранистической базой, он быстро стал одним из первых в мире знатоков согдийской письменности. Однако, истомленный тяжелой болезнью последних лет, он как-то недочувственно прислушивался к рассказам об исключительной находке: ему было, вероятно, трудно осмыслить, что он всю жизнь разбирал отрывки и единичные экземпляры, а теперь обнаружилось сразу несколько десятков документов, ярко освещающих неизвестные раньше стороны близкой ему согдийской культуры. Особенно скептически он относился к рукописям «на палках», которые до сих пор были никому неизвестны, и кажется, до конца дней своих подозревал, не кроется ли здесь какое-нибудь недоразумение. Некоторым утешением для нас служило это неожиданное подтверждение научного величия находки, которая даже специалисту казалась невероятной. Мне же самому и теперь часто хочется, чтобы когда-нибудь в Средней Азии нашелся еще хоть один такой арабский документ, как знаменитое уже в науке письмо из Согдианы.

### 3. *Куфический Коран и «бабушка-арабка»*

(1936)

Куфические Кораны I—II века хиджры представляют большую редкость в рукописных собраниях. Полные экземпляры насчитываются единицами во всем мире; долгие годы украшением нашей Публичной библиотеки был так называемый османовский или самаркандский Коран, попавший сюда по распоряжению генерала фон Кауфмана, как военная добыча при завоевании Средней Азии. После революции он вернулся обратно. Конечно, в руках халифа Османа в момент его смерти он никогда не был, как и его близнецы, которых известно на свете не меньше трех: четырех, но все они — I века хиджры и другого полного экземпляра в Ленинграде не осталось. Так обыкновенно обстоит дело и в других местах: везде куфические Кораны представлены только большим или меньшим количеством, чаще всего разрозненных листов пергамена. Даже знаменитый Марсель, основатель арабской типографии в Египте при наполеоновской экспедиции, большой любитель графики и палеография, мог вывезти только отдельные листки, которые частично попали в нашу Публичную

библиотеку. Америка, которая за последний век в различных областях составила коллекции, иногда затмевающие собрания Старого Света, здесь до сих пор оказалась не счастливее и старательно описывает и исследует попавшие за океан отдельные листы. А выплывают они не часто.

Понятно, как у меня вздрогнуло сердце, когда однажды осенью 1936 года в моих руках оказалось несколько десятков больших великолепных листов пергамента с типичным старинным куфическим шрифтом, которые принесла в Институт востоковедения продавать какая-то дама. Она говорила, что была уже в Публичной библиотеке, но там, узнав, что это — Коран, не захотели приобрести, так как Коран редкости не представляет. Я только улыбался, слушая это: мне было ясно, что у нас нигде теперь нет такого образца даже в одном-двух листах, а здесь их было несколько десятков. Сохранность была великолепная. Оригинальностью отличался формат с большей высотой, чем шириной рукописи, в противоположность обычным известным образцам. А самый шрифт с тиличным наклоном верхушек букв направо говорил о немалой древности. Позже, не полагаясь на самого себя, я проделал перекрестную проверку: обратился к двум лучшим у нас знатокам арабской палеографии — хранителю рукописного отделения института и профессору истории мусульманского искусства в университете с просьбой высказаться о дате, утаив, конечно, что обращаюсь к обоим одновременно. Ответ совпал: оба считали, что Коран относится к началу IX, а может быть даже к концу VIII века. Для меня не было сомнений, что спасти этот редчайший памятник надо и выпускать его из государственного собрания нельзя.

Первый вопрос, который возникает, когда рукопись начинает новую жизнь в научной коллекции, — о ее происхождении, своего рода формуляре. Никаких пометок и следов прежних владельцев на листах не было видно, но она не могла принадлежать какому-нибудь случайному владельцу и сохраниться в таком бережном виде. Конечно, листы были теперь перепуганы и, вероятно, вырваны из переплета, однако для приобретения и хранения их в старину надо было обладать, если не знаниями, то вкусом или быть арабом и ценить в них памятник своего прошлого. Между тем, попытки расспросить даму про историю рукописи натолкнулись на какое-то стремление запутать следы. Это мне было впрочем привычно. Часто предлагавшие рукописи или книги боялись, что их могут конфисковать, боялись открыть свое родство с бывшими владельцами больших библиотек или компрометировать себя связью с известными когда-то фамилиями. И на этот раз дама назвала себя какой-то обычной русской фамилией, но сказала, что у них была давно умершая бабушка-арабка, которой она не помнит, что от нее осталась корзинка со всяким хламом, который теперь из-за отъезда приходится ликвидировать; там же вместе с этими листами нашлось несколько

арабских и французских книг. Я хотел было ухватиться за это и спросил, нельзя ли прислать нашего сотрудника для просмотра, не окажется ли еще чего-нибудь интересного для нас, но дама торопливо и с какой-то боязнью заговорила, что у них в квартире большой беспорядок, что они сами теперь все разбирают и все сделают. По счастью, она на мой вопрос добавила, что кажется в корзине есть еще такие же листы и обещала их принести, так как я сказал, что это повысит цену. Пришлось подчиниться, тем более, что своего адреса она мне и не назвала. Доставленные листы остались у нас и это меня утешало. Рассказу про бабушку-арабку мне плохо верилось; конечно, во времена какого-нибудь халифа Хакама в Кордове могло быть несколько сот женщин, славившихся своими каллиграфическими копиями Корана и искусством его рецитации, но чтобы в XIX веке арабка, да еще бывшая замужем за русским оказалась обладательницей такого редчайшего экземпляра, это представлялось мне сомнительным.

Однако недели через полторы дама снова явилась и, к моей радости, принесла опять несколько листов Корана, так что у нас собралось около четверти полного экземпляра, чего нигде больше в Ленинграде нет. Других листов, по ее словам, не оставалось. Принесла она и две-три книги: французские оказались обычной беллетристикой, правда, в хороших переплетах, арабские — обычными восточными изданиями по мусульманскому праву, но которые, конечно, никогда никакую «бабушку», хотя бы и арабку, интересовать не могли.

Опять я задумался о прежнем владельце куфического Корана и вдруг, машинально вертя одну принесенную книгу, на корешке переплета увидел хорошо мне знакомые французские буквы I. N. Не показав вида и продолжая разговор, я сказал даме: «Значит и Коран, вероятно, из библиотеки Ирины Георгиевича Нофалья?» «Откуда вы узнали?», побледнев, с каким-то испугом прошептала она. Я не скрывая объяснил, в чем дело и как я догадался, но на большую открытость не вызвал. Она едва дождалась уплаты обещанной суммы и торопливо ушла, точно опасаясь погони. Уехала ли она фактически, или ее продолжал мучить страх моего открытия, но только больше в институте она не показывалась.

Между тем я не сказал ничего ужасного. Ириной (или по-арабски Селим) Нофаль был многолетний профессор арабского языка и мусульманского права в Учебном отделении восточных языков Министерства иностранных дел во второй половине XIX века. Как большинство преподававших здесь, он чувствовал себя скорее чиновником и дипломатом, чем ученым, но дипломатом он был внешне блестящим и почти всегда представлял Министерство, а иногда и все правительство, на международных конгрессах ориенталистов. Происходивший из очень известной арабско-христианской фамилии в Триполи сирийском, он получил

типичное левантинское образование и свободно владел французским языком. В молодые годы на родине, как свойственно многим арабам его положения, он делил свое время между торговлей, представительством иностранных держав и занятием литературой, переживавшей в середине века период некоторого возрождения, написал даже несколько беллетристических произведений, имевших известный успех. В Министерстве обратили на него внимание и, когда безнадежно заболел преподававший в Учебном отделении шейх Тантави, его пригласили занять это место. В Россию он приехал около 1860 года и настолько обрусел, что его дети никогда не были на родине отца и даже забыли арабский язык.

Сам он занятия литературой бросил, но несколько книжек по мусульманскому праву выпустил на французском языке. Это была скорее не литература, а публицистика, причем с особым оттенком. Как нередко арабы-христиане, Нофаль был страшным исламофобом и зачастую в своих работах давал такую волю иронии по адресу Мухаммеда и ислама, что турецкому посланнику приходилось протестовать и требовать конфискации его книжек. В Министерстве он сделал большую карьеру и достиг высоких чинов и орден.

Реминисценции литературных вкусов у него все же оставались; библиотека его когда-то была хороша и обладала не только книгами, но и рукописями. Содержалась она в порядке, как можно видеть по шифрам на его книгах всегда одного типа. Судьба ее была, к сожалению, печальна. Полуобрусевшие, полуофранцузенные его сыновья получили свое образование в привилегированных учебных заведениях и принадлежали к известной тогда «золотой молодежи». Ни наукой, ни литературой они не интересовались, карьеры тоже не сделали, и, существуя на средства отца, постепенно докатились до того, что, пользуясь его старостью, тайком стали распродавать отдельные книги букинистам. После его смерти вся библиотека пошла окончательно прахом и только изредка неожиданно выплывавшие на Литейном или в Александровском рынке книги, иногда необычного содержания на арабском или французском языке, в аккуратных переплетах с буквами I. N. на корешке и с однообразными шифрами на форзаце, говорили о прежнем их владельце, в свое время библиофиле, бережно хранившем редкий куфический Коран. Вероятно и он не уцелел полностью тоже по вине сыновей.

Вот благодаря чему наши собрания обогатились редким куфическим Кораном.

А буквы I. N. еще раз при других обстоятельствах заставили забиться мое сердце, когда я увидел их на корешке черного автографа арабского описания путешествия в Россию шейха Тантави, предшественника Нофалия по преподаванию в Учебном отделении восточных языков.

#### 4. Пристав при Шамиле в Калуге

(1928—1941)

История нашей арабистики плохо знакома специалистам и совсем неизвестна в широких кругах или за границей, а между тем в ней есть не мало интересных моментов и черт, которые придают иногда ей большое своеобразие и оригинальность, неповторяющиеся на западе. Надо иметь, однако, в виду, что наша научная арабистика моложе западной на два века и многие аспекты ее открываются в самое последнее время часто совершенно случайно.

До сих пор мы очень плохо знаем арабистов из военной среды, а такие несомненно были и нельзя их всех зачислять без разбора в группу переводчиков-практиков. Конечно, у нашей родины всегда чувствовалось мало непосредственной связи с арабскими странами; она не выдвинула писателей и политиков такого типа, как Лоуренс или Фильби, но связь с народами, впитавшими арабскую культуру, была сильной; часто они оказывались нашими соседями, иногда входили в состав нашего государства. Средняя Азия помогла стать крупным ориенталистом «капитану Туманскому», за которым так и сохранился в различных кругах у нас и на востоке этот чин, хотя он умер генералом. Интерес к учению бабидов постепенно выработал из него серьезного арабиста, который мог издать основную «священнейшую книгу» последователей Баба, составленную на арабском языке. Имя его навсегда закреплено в науке знаменитым «анонимом Туманского», — открытой им персидской рукописью, которая ярко отразила расцвет арабской географической науки IX—X века.

История нашей арабистики до сих пор не осветила полностью того периода, когда арабский язык в течение нескольких веков был единственным литературным языком, не только науки, но и деловых сношений на северном Кавказе — в Дагестане, Чечне, Ингушетии. На нем здесь развилась своеобразная традиция, выдвинувшая местных канонистов, историков и поэтов; возникла целая живая литература на мертвом языке, который, однако, звучал как живое средство междуплеменного общения. Об этой оригинальной и по-своему величественной картине арабисты XIX века нигде серьезно не говорили; вероятно и для меня она осталась бы скрытой, если бы рукописи не заставили задуматься над нею.

В конце 20-х годов я приобрел случайно у неизвестного лица рукописный перевод Корана с примечаниями, принадлежавший, как говорилось на синей папке, «г.-л. Д. Н. Богуславскому». Фамилия эта ничего мне тогда не сказала. Я даже не сразу догадался, что в буквах «г.-л.» кроется чин генерал-лейтенанта, настолько трудно было представить, что эта сложная и серьезная работа принадлежит военному по профессии. Вся рукопись производила впечатление белого автографа переводчика. Написана

она была на листах хорошей бумаги большого формата; предисловие было датировано 1871 годом и упоминало о пребывании автора в Стамбуле. Беглый просмотр и различные случайные справки в связи с моими занятиями Кораном быстро убедили меня, что перевод сделан с подлинника и обличает основательного арабиста. Кто он, об этом я не задумывался, занятый в то время другими работами. Вторая случайность неожиданно мне это открыла и сразу вовлекла в круг новых научных интересов.

В начале XX века на Петрозаводской улице Петроградской стороны, не подалеку от Геслеровского проспекта стоял довольно мрачного вида не очень большой трехэтажный каменный дом. Ничем особенным снаружи он не выделялся и не имел, если можно так выразиться, никакой архитектуры. Соседи знали, что в доме живет только сам владелец с семьей. Никто из них, да и мало кто в Петербурге, подозревал, что кроме нескольких жилых комнат весь дом заполнен редчайшими коллекциями и представляет большой своеобразный музей. Люди сведущие говорили, что владелец, кроме своего собственного, изрядно расстроенного теперь состояния, потратил на него еще два громадных доставшихся ему наследства. Трудно было бы определить одним словом характер этого музея, ярко отражавшего вкусы, широкие интересы, но в то же время и большую систематичность собирателя. Русский историк по своей официальной профессии, он был одновременно большим знатоком византийской культуры и совершенно исключительным специалистом по вспомогательным историческим дисциплинам. Этот широкий размах, тонкие знания, большую опытность собирателя, насквозь видевшего всех антиваров мира, хорошо отражала коллекция. И недаром позже, когда музей перешел в Академию Наук, с таким трудом подыскивали для него отчетливое название: сперва «Музей палеографии», потом «Институт книги, документа и письма», в конце концов он расплылся между различными академическими и не-академическими собраниями. Настоящее единство ему придавала только личность самого основателя, неповторимая во всем своеобразии и широте.

И восточник, и западник, к какой бы специальности, кажется, он ни принадлежал, находил себе материал в оригинальном музее без вывески на Петрозаводской улице. Каких только уникалов здесь не было! Вавилонские архаические таблички и папские буллы, арабские надгробия первых веков ислама и византийские грамоты, акты итальянской Кремоны и арабские папирусы из Египта... Не только у арабиста глаза разбегались, а гостеприимный хозяин умел завлекать своими сокровищами иногда самого неожиданного характера.

В начале первой мировой войны я не мало заинтересовался разбором оказавшейся здесь части архива известного итальянского путешественника начала XVII века Пьетро делла Валле: в нем нашлись арабские письма родственников его жены, уро-

женки Месопотамии, любопытнейшие памятники арабской эпистолярной литературы того времени, важные и для истории арабской диалектологии и для биографии одного из гуманистов, пионеров итальянского востоковедения. Для обработки их потребовались некоторые справки в итальянских архивах; получение их затруднялось периодическим перерывом сношений с Италией и до сих пор эти материалы остаются неопубликованными. По счастью, в других случаях таких затруднений не возникало. Увидел свет и южноарабский амулет из этой коллекции, и медная магрибинская табличка, вышло капитальное издание арабских надгробий, поставлено на прочную почву изучение арабских папирусов.

Но много еще неведомых сокровищ и для арабиста содержат коллекции, когда-то объединенные со всего света в доме на Петрозаводской улице.

Как-то раз, уже в 1932 году, просматривая инвентарь Института книги, документа и письма, я обратил внимание на упомянутый там автограф Шамиля. Это оказалось письмо действительно за подписью самого Шамиля, может быть даже целиком написанное им, конечно на арабском языке, в последние годы пребывания его в России не задолго перед поездкой в Аравию. Адресатом был назван «генерал князь Богуславский» и мне сразу вспомнился переводчик Корана. Несомненно, это было одно и то же лицо: титул «князя» кавказские жители считали принадлежностью всех крупных военных и гражданских чинов. Я чувствовал, что от судьбы не уйдешь и надо заняться выяснением личности, с которой уже второй раз меня сталкивают рукописи.

Это оказалось нетрудно; раз ариаднина нить попала в руки, дальше все пошло как-то само собой и «звери» побежали на «ловца» стаей. Разъяснения начали выплывать с обеих сторон: с арабской и с русской. В собраниях Азиатского музея нашелся автограф воспоминаний зятя Шамиля об их пребывании в России; автор очень тепло отзывался там о «полковнике Богуславском», который, как владеющий арабским языком, был приставлен к ним в Петербурге и в первое время их пребывания в Калуге. Русские документы подтвердили, что он был первым приставом при Шамиле, а затем его сменили Руновский и Пржецлавский. В литературе последние были известны, так как не мало выступали в печати со своими воспоминаниями и статьями о Шамиле, главным образом за время его жизни в России. В противоположность им Богуславский почти ничего не писал, имея для этого, вероятно, какие-нибудь особые основания. Об этом приходится пожалеть, так как все арабские материалы, связанные с Шамилем, в лучших тонах всегда отзываються о первом приставе.

Вероятно, его лаконичность послужила причиной того, что так мало сведений о нем самом сохранилось в печати. По своему во-

стоковедному образованию, он был как-то связан с Петербургским университетом. Впоследствии декан факультета восточных языков, знаменитый в то время А. К. Казембек в одной из своих записок по вопросам востоковедения указывал на Д. Н. Богуславского, как на пример того, чего может достичь даже не студент, а вольнослушатель в условиях университетского преподавания. Когда эта записка сочинялась, последний состоял уже при нашем посольстве в Константинополе. Новая выплывшая случайность позволила предположить, что его интересы в эту пору выходили далеко за рамки функций обычного военного атташе. В одной из ленинградских библиотек сохранился интересный экземпляр книжки со стихотворениями арабского журналиста-эмигранта Ризкаллаха Хассуна, переводчика Крылова. Он был поднесен автором Богуславскому с посвящением в очень трогательных стихах с какими-то намеками на оказанную помощь. Весьма возможно, что Богуславский содействовал его бегству из Турции в Россию.

В Константинополе Богуславским был подготовлен и перевод Корана, попавший в мои руки, — труд, который дает полное право этому генералу на место в истории нашей арабистики. За весь XIX и XX век это всего второй случай перевода Корана на русский язык с подлинника. Судя по внешности, он предназначался к печати и, если остался неопубликованным, то вероятно потому, что как раз в это время в 70-х годах появился в Казани перевод Г. С. Саблукова, бывшего когда-то в Саратове учителем Чернышевского. Саблуков являлся, можно сказать, профессионалом, посвятившим несколько десятилетий своей работе, но характерно, что в конце 90-х годов, когда уже вдова Богуславского представила его перевод в Академию Наук, В. Р. Розен в своем отзыве, который удалось обнаружить в архиве, отметил, что он по своим достоинствам не уступает саблуковскому. Такая оценка со стороны арабиста первой величины много значит и, если взвесить все условия нашего культурного развития в середине XIX века, то вероятно придется признать, что подняться до такой научной высоты генералу было пожалуй труднее, чем профессору Духовной академии.

Я не знаю, нашелся ли у Богуславского в последующем поколении какой-нибудь ученик или продолжатель из тех, кто его знал и мог непосредственно проникнуться его интересами, но для меня знакомство с его фигурой незаметно и постепенно открыло совершенно неведомую раньше картину арабской литературы на Кавказе. Как часто бывает, только при первой концентрации мысли на новом сюжете, материала уже не надо было специально искать; он сам шел в руки и невольно приходилось удивляться, как раньше его могли не замечать. Письмо Шамиля к Богуславскому повлекло за собой ряд аналогичных памятников своеобразной деловой и эпистолярной литературы. Мало удовлетворительные переводы случайных толмачей вели к постепенно

открывавшимся подлинникам, где иногда на первых порах ставила в тупик специфичность выработанных здесь форм арабской палеографии, вплоть до нигде более не встречающихся пояснительных значков. Разнообразие документов часто оживлялось такими курьезами, как обнаруженный в Ростовском музее приказ Шамиля на буквом листке. В коллекциях Азиатского музея всплывал давно там находившийся автограф воспоминаний о жизни в России зятя Шамиля, еще раз показывавший, как осторожно надо относиться к переводам даже пристава Руновского, которые считались авторитетным историческим источником. В наследии одного из профессоров факультета восточных языков обнаружился цензурный экземпляр истории Шамиля, составленной одним из его ближайших секретарей, доведенной в последних редакциях до первых лет XX века.

Мастерское владение арабским литературным языком говорит о большой жизненности этой традиции и позже. В 30-х годах, когда мне было прислано собрание стихотворений арабских поэтов последнего времени с Северного Кавказа, я от неожиданности на первых порах заподозрил мистификацию: настолько меня поразило уверенное владение всеми приемами и жанрами классической арабской поэзии. Никакой мистификации не было: мощная струя давней традиции донесла до наших дней арабский литературный язык, умерший в живой речи у себя на родине; здесь он жил полной жизнью не только в письменности, но и в разговоре. Его роль оказалась сыгранной окончательно только тогда, когда местные национальные языки после Великой Октябрьской социалистической революции получили, наконец, свою письменность.

Материалы стекались ко мне, картина росла и оживлялась, постепенно открывались истоки этой традиции, иногда уводившие нас далеко за пределы Турции, не только в Сирию или Египет, но даже в Аравию и в Йемен. С большим волнением я читал рассказ одного йеменца XVIII века, который на своей родине в Санаа услыхал какого-то приезжего дагестанца, говорившего на таком блестящем арабском языке, что «даже дрожь пошла» по нему. Теперь при отзыве природного араба мне стало понятно первое впечатление, произведенное на меня памятниками местной арабской литературы на Кавказе.

Новый мир вырисовывался передо мною, открывалась своеобразная линия развития как бы боковой ветви арабской литературы, параллели к которой было бы трудно подыскать. Памятники ее, гораздо более разнообразные, чем казалось издали по первому взгляду, представляли интерес не только для местной истории, но и для арабистики, для общей истории арабской литературы. Они находились у нас под боком и не мало можно было удивляться тому, что университетская арабистика ни словом не обмолвилась о них за весь XIX век. Наука наша еще очень молода и не успела охватить всех областей, но может быть на Кавказ она не обратила внимания под влиянием частого в

науке психического настроения: то, что близко, не интересно. Вплотную к ней стояли только арабисты-практики из военных; фигура первого пристава при Шамиле выделяется среди них и входит в историю научной арабистики. Со временем, когда глава об арабской литературе на Кавказе займет по праву принадлежащее ей место в общем своде истории арабской литературы, надо будет не забыть, что первый толчок к знакомству с ней в нашем поколении был дан рукописями, связанными с фамилией генерала Богуславского.



## ФИНАЛ

### *Requiem aeternam...*

(1943)

Душа моя, элизиум теней,  
Теней безмолвных, светлых и прекрасных...

*Тютчев*

...Одна за другой встают передо мною картины прошлого. Бесконечной лентой, все дальше и дальше развертываются они в памяти; я не в силах, я не хочу их остановить. Ведь каждая рукопись, старая и новая, арабская и русская, что мне вспоминается теперь, властно вошла в мою жизнь, по-своему меняла и расширяла ее. Не было бы их, и я не мог бы показать этого прошлого, не мог бы сам увидеть тех людей, что писали эти рукописи, и тех, о ком они писали. Немой осталась бы для меня история нашей науки; безжизненным, сухим списком звучали бы имена наших «предков», великих и скромных тружеников арабистики.

Рукописи позволили их увидеть иногда яснее, чем то было при их жизни; рукописи ввели меня в великий элизиум, элизиум «теней безмолвных, светлых и прекрасных», на моих глазах тени облекались всеми переливами жизни. Я вижу здесь и предков, и учителей, и товарищей. Рядом с гигантами нашей науки Френом и Розеном виднеются мне труженики, создавшие базу нашего преподавания: основатель московского востоковедения Болдырев, которого погубил пропуск в печать «философического письма» Чаадаева, и Гиргас, жертва вывезенного из Сирии туберкулеза. Рядом с блестящим когда-то бароном Брамбеусом — арабистом Сенковским, которым зачитывалась вся Россия, «люди одной книги» — Саблуков, любимый учитель Чернышевского, и Медников, которых знают теперь только ученые; рядом с русскими и арабы, трудившиеся в России, — египтянин шейх Тантави или дамаскинец Муркос. Среди штатских фигур виднеется и генерал Богуславский, с которым так подружился старик Шамиль. Одни твердо прошли свой путь до конца, другие пали под гнетом суровой жизни, не свершив всего им положенного.

Сердце сжимается. Тени учителей не заслоняют рядом стоящих учеников, отшедших раньше нас. Много их видится мне;

тяжкая жизнь и две суровых войны рано скосили молодые цветы и не всем дано было расцвести в полном блеске. Но все они близко прикоснулись к науке и все были зачарованы ею. Как и со мной, рукописи говорили с ними живым языком и часто ко мне приходили они с открытыми их руками сокровищами. Вместе мы радовались и вместе горевали, вместе перенесли много тяжелых годин, когда их энтузиазм поддерживал мою падавшую бодрость.

Обширен «элизиум теней» и старших и младших поколений в нашей арабистике за два века; начнешь их считать и, как при счете звезд на небе, встают все новые и новые. Они много сделали для рукописей и книг; только книга может сохранить память о них. Уже четвертое десятилетие готовится она: из архивов, рукописей и печати переходят в нее все новые и новые имена, все новые черты жизни потрудившихся в арабистике или как-нибудь случайно подошедших к ней. Это будет книга суровая, лаконичная и сухая, но ее поймут историки науки, историки нашей культуры. Может быть, в картинах, встающих теперь «над арабскими рукописями»; живее, чем в ней, блеснут эти фигуры наших «предков» в арабистике; может быть, и «тени отшедших» когда-нибудь осветятся мягким лучом воспоминаний. Пусть же всякий, кто будет читать эту книжку, пожелает «Requiem aeternam» — вечного покоя и благодарной памяти для всех, кто связан с ее страницами.



## «ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО»

У поэта-философа Абу-ль-Аля, имя которого не один раз появляется на страницах этой книжки, есть сборник стихотворений под странным заглавием «Люзум ма ля яльзам» — «Обязательность того, что не обязательно». Обыкновенно в этом видят намек на сложную двойную рифму, которая применена во всех его стихотворениях, хотя поэты пользуются ею для показа своего мастерства только изредка в отдельных коротеньких отрывках. Несомненно таков первый, в известной степени, «явный» смысл этого заглавия, но, зная приемы Абу-ль-Аля, можно быть уверенным, что он придавал ему и другое еще «скрытое» значение. Он хотел сказать, что его мысли и выводы из них, которые он излагает в своих стихах, может быть и необязательны для других людей, но для него-то самого они обязательны и он не может обойтись без них. Так и ученым филологам трудно отказаться от своих привычек, которые кажутся излишними обыкновенным читателям: эти авторы чувствуют себя удовлетворенными только тогда, когда рядом с основным «текстом» найдут и «комментарий» и «супра-комментарий», когда увидят и примечания, и указатели, и глоссарий. Все это «необязательно» для писателей, но ученые — люди «испорченные» и «обязательность» таких «необязательных» приложений стала для них второй природой.

Пока складывались отдельные части этой книжки, такие мысли не приходили мне в голову, но когда она стала приобретать окончательную форму, я увидел, что необходимо ее дополнить нашими обычными «учеными» приложениями. Об этом настойчиво и единогласно говорили мне замечания тех лиц, которые случайно знакомилась с отдельными картинами, указывая в особенности на чрезмерную лаконичность первого цикла, в котором многое остается непонятным для неспециалиста без пояснения. Я старался не увлекаться «учеными» тенденциями и ограничиться ответами только на те вопросы, с которыми ко мне обращались. Вносить какие-нибудь «комментарии» в самый «текст» было невозможно, чтобы не нарушить ткани изложения; проще было дать весь этот «подсобный материал» в конце, куда те, кому он не интересен или не нужен, могут не заглядывать.

Прежде всего надо несколько дополнить вводные слова о ближайшем поводе, который вызвал появление этой книжки. В ра-

ботах по истории науки, при составлении био-библиографического словаря наших арабистов, меня всегда очень затрудняло то, что ученые редко говорят о себе, о своем внутреннем развитии, о том, что они переживали при той или иной работе, как они сделали какое-нибудь открытие. Отдельные моменты всего этого, конечно, иногда отражаются в биографиях и автобиографиях, но всегда в виде случайных беглых упоминаний. Добытые научные результаты и выводы всегда формулируются в специальных работах, но для такой «внутренней» биографии ученого там, конечно, нет места уже по самому характеру этих произведений, по их стилю. Представители точных наук в этом отношении счастливее нас — филологов: у них есть блестящая книга акад. А. Е. Ферсмана «Воспоминания о камне». Значение ее очень велико: об этом говорят не только повторные издания, но и тот живой отклик, который она вызвала во всех концах нашей страны, содействуя широким образом пропаганде науки, поддерживая высоко научный энтузиазм у тех, кто к ней прикоснулся. В мыслях у меня вместо камней всегда стояли рукописи — основной источник и материал нашей работы; так давно уже определился сам собой стержень будущей книжки.

Непосредственным толчком, когда мысли и образы стали настойчиво стремиться к изложению на бумаге, оказался юбилей долголетнего хранителя Рукописного отделения Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде Ивана Афанасьевича Бычкова. Юбилей этот был тепло отмечен в начале 1941 года и тогда же у меня зародилась идея вспомнить те арабские рукописи, которые в течение нескольких десятков лет я получал из его рук для разных своих работ. Так возник первый небольшой цикл из пяти картинок с прологом и эпилогом, представлявший первоначально законченное целое. Теперь эпилог следовало бы перенести в конец всей книжки, но мне не захотелось лишать единства так непосредственно вылившуюся серию.

Дальнейшие циклы слагались в несколько другом стиле и объеме, главным образом уже в 1942—1943 годах, когда Великая отечественная война заставила меня покинуть Ленинград.

Оказавшись впервые за долгие годы вдали от привычных библиотек, особенно остро я переживал тоску по рукописям и в воспоминаниях о них находил себе поддержку. К трем из этих циклов постепенно прибавились и вводные части, преимущественно личного мемуарного характера. Так как отдельные картинки возникали не в той последовательности, в которой они теперь объединены, то я в примечаниях указал дату завершения каждой: в работе над историей науки я часто убеждался, как приходится иногда сожалеть об отсутствии хронологических вех. Поэтому же теперь, в тех случаях, когда действие рассказа можно было приурочить к определенным годам, я отмечал их рядом с заглавием.

Примечания мне понадобились, главным образом, по двум обстоятельствам, которые выяснились при чтении отдельных от-

рывков представителям самых разнообразных специальностей. Обнаружилось, что слушатели иногда склонны принимать рассказы за литературный вымысел, в котором нет определенной конкретности основы. На это я должен был отвечать, что, наоборот, каждый из них передает действительный случай с рукописями, которые попадали мне в руки, и выдумка в основе сюжета совершенно отсутствует. Конечно, на пространстве четырех десятков лет, я мог забыть некоторые даты, мог переставить какие-нибудь детали, неточно по форме передать чей-нибудь разговор, тем более, что не всегда имел возможность навести справку, даже в своих собственных работах. Однако все картины отражают только реальные факты и переживавшиеся мною тогда чувства. Возможно, что в обрисовке последних иногда сказались протекшие годы, но самые факты воспроизведены без всяких изменений.

Для обоснования этого я и позволил себе дать в примечаниях почти к каждому отдельному номеру ссылки на свои работы, в которых говорится о тех же рукописях или сообщаются о них сведения, но уже в чисто научном аспекте. Полагаю, что эти ссылки окажутся полезными и для тех, кто захочет получить более детальные сведения об упомянутых материалах или расшифровать какие-либо случайные упоминания, на желательность чего тоже иногда указывалось слушателями особенно первого цикла. Исчерпать весь научный аппарат я, конечно, не мог и не желал, так как это завело бы слишком далеко и сразу могло бы увеличить примечания до объема самого текста. Я старался быть лаконичным и дать только основную нить, которая поможет тем, кто пожелает расширить свое знакомство с главными сюжетами, затронутыми в книжке. Поэтому я ограничился только ссылками на свои собственные работы, указывая иногда печатный список их до 1936 года (Библиография печатных работ академика Игнатия Юлиановича Крачковского. К 30-летию научной деятельности. Труды Института востоковедения, XIX, М. — Л. 1936). В передаче имен и заглавий я по примеру самой книжки упрощал обычную научную транскрипцию. Той же цели — лаконичного комментария служат и объяснения; изредка в них я позволял себе кратко расшифровать отдельные имена и названия.

Я хорошо понимаю, что все это по существу не представляет необходимости в книжке такого характера, все это относится к тому, что Абу-ль-Аля называл «обязательностью необязательного», но может быть кому-нибудь и это приложение окажется полезным. У арабов ведь есть пословица: «увеличивать хорошее — хорошо», а читатели, которым это не нужно, на меня не посетуют — они могут не смотреть приложения.



## ПРИМЕЧАНИЯ

### I. «В Рукописном отделе»

Весь цикл написан в Ленинграде в марте 1941 года.

— «Пролог». В романе Д. Л. Мордовцева «Знамена времени» фигурирует А. Ф. Бычков, первый хранитель Рукописного отдела и впоследствии директор Публичной библиотеки, отец И. А. Бычкова.

— Скульптура М. Антокольского «Нестор летописец» находится в помещении Рукописного отдела.

1. «Старый апокриф». См. «Новозаветный апокриф в арабской рукописи 885—886 по Р. Х.», Византийский Временник, XIV, 1907—1909, 246—275 (Библиография, № 11).

2. «Переводчик Крылова». См. Ризкаллах Хассун (1825—1880), переводчик басен Крылова на арабский язык. Восточный сборник (изд. Гос. публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина), Ленинград, 1926, 16—36 (Библиография, № 205).

3. «Современник Хулагу». См. Angebliche Autographe des Geschichtsschreibers Kamal ad-din Ibn al-Adim in Leningrad, Der Islam, XV, 1926, 334—336 (Библиография, № 215). В этой заметке указана и предшествующая литература.

4. «Заложник двойной тюрьмы». Ср. «К истории и критике ар-Рисале аль-Феляхийе Абу-ль-Аля», Записки Восточного отделения Русского археологического общества, XXI, 1911—1912, 0131—0137 (Библиография, № 44).

5. «Из Сицилии через Персию в Петербург». Научное описание рукописи географии аль-Идриси, хранящейся в Публичной библиотеке, в печати еще не появилось. Ср. Idrisi. La Finlande... Edition critique par O. J. Tallgren-Tuulio et A. M. Tallgren (Studia Orientalia), Helsingforsiae, 1930, 16, прим. 2.

### II. «Из скитаний по Востоку»

1. «Книги и люди». Написано в Москве 16—19 декабря 1942 г. О занятиях в Университете св. Иосифа см. «Восточный факультет Университета св. Иосифа в Бейруте. Из отчета о командировке». Журнал Министерства народного просвещения, февраль 1910 г., Современная летопись, 49—87 (Библиография, № 26).

2. «Грамматический трактат или антирелигиозный памфлет?» Написано в санатории Сосновый Бор (Болшево) около Москвы 11 и 13 сентября 1942 г. См. «Абу-ль-Аля аль-Маарри. Рисалат аль-Малаяка. Издание текста, перевод и

комментарии». Труды Инст. Востоковедения Академии Наук СССР. III Ленинград, 1932 (Библиография, № 286).

3. «Ненаписанная диссертация». Написано в санатории Сосновый Бор 8—9 сентября 1942 г. См. «Арабские рукописи городской библиотеки в Александрии и диван Омара аль-Маххара», Записки Восточного отделения Русск. Археологич. общества, XXII, 1914, 5—7 (Библиография, № 65).

4. «Рукописи двух патриархов или сбывшееся предсказание». Написано в санатории Сосновый Бор 18—20 сентября 1942 г. См. «Арабские рукописи из собрания Григория IV, патриарха антиохийского. Краткая опись». Известия Кавказского историко-археологического института, II, 1917—1925, 1—20 (Библиография, № 109).

### III. «В Азиатском музее»

1. «Введение к легенде». Написано в Москве 21—24 ноября 1942 г. Об истории Азиатского музея до 1919 г. см. «Азиатский музей Российской Академии Наук. 1818—1918. Краткая памятка». Петроград, 1920 (Издание Академии Наук). (Библиография, № 105); о Ф. А. Розенберге см. некролог его; Известия Академии Наук СССР, Отделение общественных наук, 1935, 895—911. В конце главы намек на «легенду» об Азиатском музее, сочиненную в стиле старофранцузских эпических сказаний одним молодым китаистом в начале 20-х годов XX в.; действующими лицами являются работники Азиатского музея в то время.

2. «Единственная рукопись и ученые «Двадцать язык». Писалось в санатории Сосновый Бор и в Москве в промежутке между 24 сентября и 11 октября 1942 г. Об Ибн Кузмани см. главу в статье «Арабская поэзия в Испании» в сборнике «Культура Испании», Изд. Академии Наук СССР, 1940, стр. 111—112 с литературой, указанной на стр. 116. О коллекциях Руссо в Азиатском музее см. в статье «Неизвестное сочинение — автограф сирийского эмира Усамы». Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее Академии Наук СССР, I, 1925, 16.

3. «Современник первого крестового похода». Написано в Москве 16—18 октября 1942 г. См. «Неизвестное сочинение — автограф сирийского эмира Усамы», Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее Академии Наук СССР, I, 1925, 1—18 (Библиография, № 179). Ср. «Усама ибн Мункыз. Книга назидания. Перевод М. А. Салье. Петроград — Москва (Изд. Всемирная литература) 1922» (Библиография, № 114).

4. «Лоцман Васко да Гамы». Написано в Москве 29—30 ноября 1942 г. Краткое замечание о рукописи со снимком первой страницы в статье «Арабские географы и путешественники», Известия Государственного географического общества, том 69, вып. 5, 1937, стр. 758—760. Специальная глава посвящена этому автору в подготавливаемой работе «Арабская географическая литература».

### IV. «В Университетской библиотеке»

1. «Библиотекари и библиотека». Написано в Москве 25—28 мая 1943 г.

2. «Впервые оппонентом на диссертации». Написано в санатории «Узкое» около Москвы 6—8 июля 1943 г. См. «Один из источников для биографии аш-Шарани», Записки восточного отделения Русского археологического общества, XXII, 1914, 283—290 (Библиография, № 73). Ср. Рецензию на книгу «А. Э. Шмидт, Абд аль-Ваххаб аш-Шараний и его «Книга рассыпанных жемчужин», СПб. 1914», Журнал Министерства народного просвещения, апрель 1915 г., 388—400 (Библиография, № 76).

3. «От Каира до Волкова кладбища в Петербурге». Написано в санатории «Узкое» 9—11 июля 1943 г. См. «Шейх Гантави, профессор С.-Петербургского университета (1810—1861)», Ленинград, 1929. Труды Комиссии по истории зна-

ний, № 8 (Библиография, № 266). Ср. «Арабистика и история народов СССР», Вестник Академии Наук СССР, 1938, № 5, 59—60.

4. «Аль-Андалус и Ленинград». Написано в санатории «Узкое» 13—16 июля 1943 года. См. «Полвека испанской арабистики», Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее Академии Наук СССР, IV, 1929, 1—32. (Библиография, № 255). О Д. К. Петрове см. «Д. К. Петров-арабист», Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее Академии Наук СССР, II, 1926, 163—170 (Библиография, № 211).

#### V. «На ловца и зверь бежит»

1. «Бронзовые таблички из страны царицы Савской». Написано 24—25 июля 1943 г. в санатории «Узкое». См. «Две южноарабские надписи в Ленинграде», Известия Академии Наук СССР, Отделение общественных наук, 1931, 427—458 (Библиография, № 279).

2. «Письмо из Согдианы». Написано 19—20 июля 1943 г. в санатории «Узкое», См. «Древнейший арабский документ из Средней Азии», Согдийский сборник, Ленинград, 1934 (Изд. Академии Наук СССР), 52—90 (Библиография, № 318).

3. «Куфический Коран и бабушка-арабка». Написано 8 марта 1942 г. в Ленинграде. Об И. Г. Нофале см. «Новая рукопись описания России шейха Тантави», Доклады Академии Наук — В, 1928, 302, пр. 2.

4. «Пристав при Шамиле в Калуге». Написано в санатории «Узкое» 28—29 июля 1943 г. См. «Неизданное письмо Шамиля», Записки Института востоковедения Академии Наук СССР, II, 1933, 1—7 (Библиография, № 229); «Перевод Корана Д. Н. Богуславского», Советское востоковедение, III, 1941, 353—361; «Арабистика и история народов СССР», Вестник Академии Наук СССР, 1938, № 5, стр. 57—59.

«Финал». В конце идет речь о подготовленном к печати биографическом словаре русских и советских арабистов, который содержит около 300 имен, относящихся к XVIII—XX вв.

## ОБЪЯСНЕНИЕ СЛОВ

### 1. Собственные имена и названия

*аль-Азхар* — мечеть с высшей школой в Каире, основанной в X в.

*аль-Андалус* — арабское название Испании.

*бабиды* — последователи Баба, основателя религиозного учения в Иране около середины XIX в.

*Брокельман К.* — востоковед, составитель основного справочника по истории арабской литературы.

*Дорн Б. А.* — востоковед, составитель каталога восточных рукописей Публичной библиотеки в Петербурге.

*куфический (шрифт)* — архаичное арабское письмо, традиционно связываемое с г. Куфой.

*Магриб* — «Запад», арабское название северной Африки к западу от Египта.

*магрибинский (шрифт)* — арабское письмо, распространенное в северной Африке.

*мамлюкские султаны* — правители Египта в XIII—XV вв.

*марониты* — христианская народность на Ливане.

*аль-Маширик* — «Восток», арабский журнал в Бейруте.

*Медресе ан-Низамийя* — высшая школа в средневековом Багдаде, основанная везирем Низам аль-Мульком

*мориски* — потомки арабов в Испании, насильственно обращенные в христианство.

*мосарабы* — испанские христиане, сохранившие религию, но принявшие арабский язык.

*муаллаки* — «отборные» арабские стихотворения эпохи до ислама.

*Омейяды* — династия арабских халифов в Дамаске VII—VIII вв.

*Осман* — третий халиф в Аравии (644—654).

*суфизм* — религиозно-философское течение в исламе с мистическими тенденциями.

*Тишендорф К.* — ученый путешественник, составитель коллекции рукописей, находящейся в Публичной библиотеке Ленинграда.

*фатимидские султаны* — правители Египта в X—XII веках.

*Хаджжи Халифа* — турецкий библиограф XVII в., составитель основного справочника по арабской литературе.

*Хамаса* — антология арабской поэзии, составленная в IX в. Абу-Теммамом.

### 2 Арабские слова

*Аваз* — (арабск. Аб) отец (при именах лиц духовного звания).

*басмала* — формула «Во имя Аллаха»..., начинающая арабские книги и документы.

*везир* — «помощник», первый министр.

*диван* — собрание стихотворений.

*заджалъ* — «мелодия», стихотворение на разговорном языке.

*иджма аль-умма* — «объединение общины», всенародное признание.

*кавас* — «стрелок», почетный телохранитель.

*калам* — тростниковое перо.

*касыда* — большое стихотворение, построенное по установленному плану.

кубба — «купол», мавзолей, комната со сводами.  
 москоби — «москвич», русский.  
 мусташирик — ориенталист.  
 наура — «нория», оросительная машина.  
 несхи — «копировальный», курсивный шрифт.  
 урджуза — стихотворение, написанное арабским размером «реджез».  
 франджи — «франки», европейцы, живущие на востоке.  
 хафиз — «хранитель», знающий Коран наизусть.  
 хиджра — «переселение» Мухаммеда из Мекки в Медину, эра мусульманского летосчисления (622 г.)  
 шейх — «старшина», наставник; титул лиц, окончивших школу аль-Азхар.  
 шериф — «благородный», потомок Мухаммеда.  
 эмир — «повелитель», князь.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Прелюдия . . . . .	3
<b>I. В Рукописном отделе</b>	
Пролог (1901) . . . . .	5
1. Старый апокриф (1906) . . . . .	6
2. Переводчик Крылова (1922) . . . . .	7
3. Современник Хулагу (1911) . . . . .	8
4. «Заложник двойной тюрьмы» (1912) . . . . .	8
5. Из Сицилии через Персию в Петербург (1929) . . . . .	10
Эпилог (1941) . . . . .	10
<b>II. Из скитаний по Востоку</b>	
1. Книги и люди (1908—1910) . . . . .	12
2. Грамматический трактат или антирелигиозный памфлет? (1910—1932) . . . . .	19
3. Ненаписанная диссертация (1910) . . . . .	23
4. Рукописи двух патриархов или сбывшееся предсказание (1900—1927) . . . . .	26
<b>III. В Азиатском музее</b>	
1. Введение к легенде (1903—1934) . . . . .	33
2. Единственная рукопись и ученые «дванадцать язык» . . . . .	41
3. Современник первого крестового похода (1919—1921) . . . . .	46
4. Лоцман Васко да Гамы . . . . .	50
<b>IV. В Университетской библиотеке</b>	
1. Библиотекари и библиотека (1901—1930) . . . . .	55
2. Впервые оппонентом на диссертации (1914) . . . . .	65
3. От Каира до Волкова кладбища в Петербурге (1916—1930) . . . . .	73
4. Аль-Андалус и Ленинград (1906—1942) . . . . .	79
<b>V. «На ловца и зверь бежит»</b>	
1. Бронзовые таблички из страны царицы Савской (1930) . . . . .	87
2. Письмо из Согдианы (1934) . . . . .	93
3. Куфический Коран и «бабушка-арабка» (1936) . . . . .	99
4. Пристав при Шамиле в Калуге (1928—1941) . . . . .	103
Финал. Requiem aeternam (1943) . . . . .	109
«Обязательность необязательного» . . . . .	111
Примечания . . . . .	114
Объяснение слов . . . . .	117

*Печатается по постановлению  
Редакционно-издательского совета  
АН СССР за № 2105*

\*

*Редактор Ц. М. Подгоренская*

*Подписано к печати 7/III 1945 г.  
Л60416, печ. л. 7<sup>1/2</sup>+5 вклёк, уч.-изд.  
л. 8,25, тираж 3000 экз. Цена 6 руб. 50 коп.  
Заказ № 1431.*

---

*1-я Образцовая тип. треста «Полиграф-  
книга» Огиза при СНК РСФСР.  
Москва, Валовая, 28*

*ИЗ*